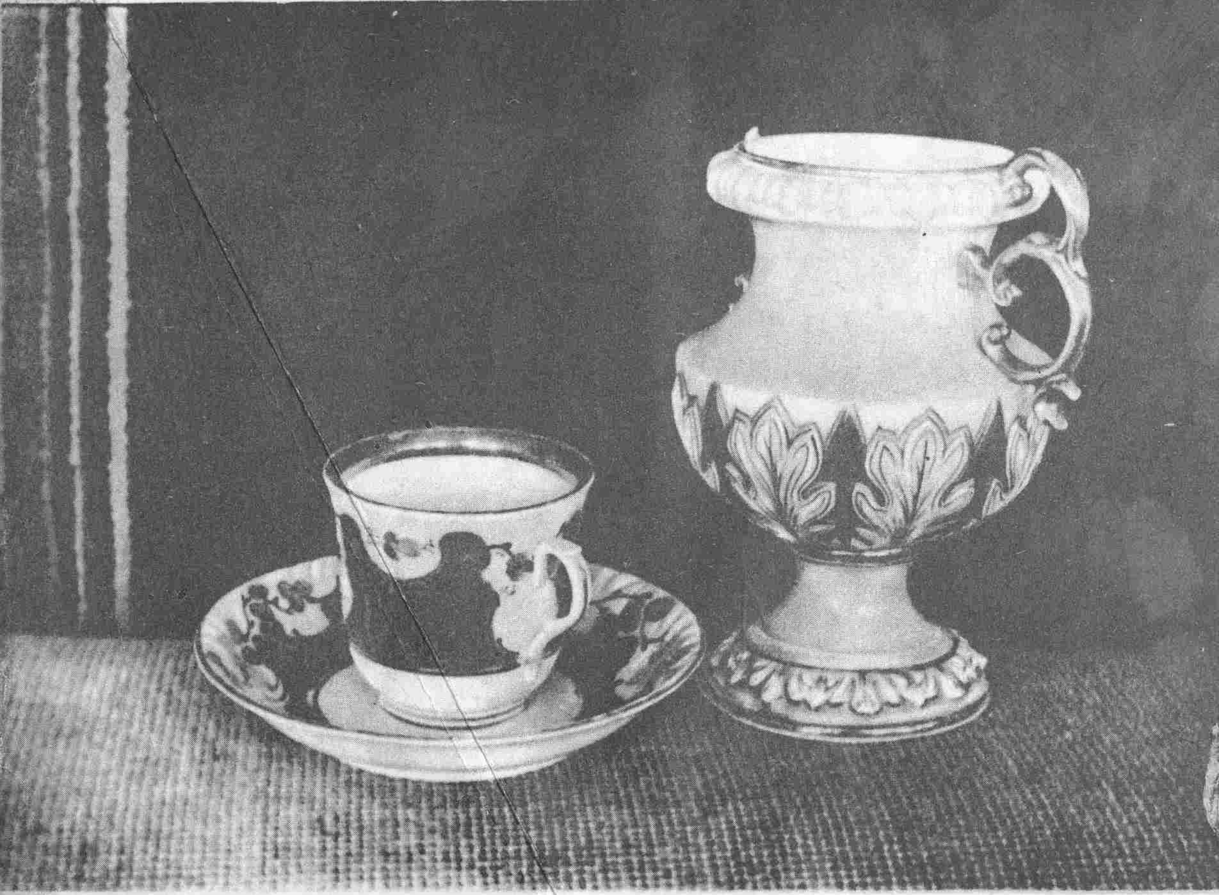
Р2(05)
(9.64

АНГАРА

№3

1969

МАЙ
ИЮНЬ



Фарфор. XIX век.

Р2(05)
а.64

АНГАРА

3 | 69

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ГОД ИЗДАНИЯ 39-Й

ОРГАН ИРКУТСКОЙ И ЧИТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинская рубрика

А. Г. Боннер. При жизни Ленина 68

Проза

П. П. Петров. Половодье. Главы из второй книги 7
А. Зверев. Два рыболова. Перед педсоветом. Рассказы . . 78
С. Фомин. Неутомимый. Рассказ 85
Г. Азаров. Сибирский фарфор 90
М. Сергеев. Счастливый поезд. Из книги микромемуаров . . . 103

Поэзия

И. И. Молчанов-Сибирский Стихи 4
Леонид Попов. Новые стихи. Перевод с якутского А. Преловского 73
О. Хавкин. Стихи. . . . 76

Литературоведение, публикации

В. Зоркин. М. Ю. Лермонтов в Селенгинском пехотном полку 109
В. Трушкин. Ранний Павел Васильев (Сибирский период в жизни и творчестве поэта) . . . 116

Областная библиотека
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

На 2-й и 3-й страницах обложки, на вклейке — изделия Хайтинского фарфорового завода.

Редакционная коллегия

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36,
Дом писателей. Телефон 4-56-76.

Восточно-Сибирское книжное издательство

НАМ ВМЕСТЕ СТОЯТЬ НА ОХРАНЕ ГРАНИЦ...

Эти стихи Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского нам прислал ветеран пограничных войск, генерал-лейтенант в отставке Анатолий Александрович Никифоров. Вот что он пишет: «В 1934 году начальствующий состав запаса пограничных войск проходил переподготовку. Я в то время командовал курсом переподготовки в 1-й пограничной школе (Новый Петергоф) и не могу не вспомнить этого высокого, стройного и подтянутого, с белокурой шевелюрой, выразительными и добрыми глазами человека. Иван Молчанов был всегда примером на курсе как при обучении, так и в повседневной лагерной жизни, проявляя большую активность в массовой работе. Он был редактором стенной газеты, участвовал во всех спортивных мероприятиях, был центром дружеских бесед и активно помогал отстающим товарищам в преодолении трудностей, возникающих в ходе переподготовки.

Я вспоминаю его, раскрывая уже пожелтевшие от времени листки с написанными им и подаренными мне стихами».

Эти листки, бережно сохраненные, исписанные бисерным, аккуратным почерком нашего земляка-поэта, и прислал нам генерал-лейтенант Никифоров.

«Песня командиров запаса» была написана в первые же дни переподготовки и была любимой строевой песней на учебном сборе. Под этими стихами приписка: «Дорогой т. Никифоров! Это пока наброски к поэме, которая рождена при Вашем участии. Буду рад написать хорошие стихи о памятных днях переподготовки. Ив. Молчанов».

«1 июля 1934 года,— продолжает Анатолий Александрович,— закончился учебный сбор командиров запаса. Решили устроить прощальный вечер, экспромтом. Организовали концерт, показывали, кто что мог, проявляя большую активность. Тут же на вечере мне передали бланк полевой книжки, предназначенной для учебно-боевых донесений. На сей раз на нем было не боевое, а поэтическое донесение о нашем вечере («Прощальный вечер»). Я тут же прочитал стихи всем присутствующим. Все аплодировали. Молчанова подхватили, стали качать».

Это письмо и стихи, еще нигде не опубликованные, раскрывают нам новую страничку в биографии И. И. Молчанова-Сибирского.

Редколлегия

И. И. МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ

РАЗГОВОР С КОМАНДИРОМ

тов. Никифорову

Внимание!
Где-то горнист с трубой.
И скоро, товарищи, скоро
Горнист проиграет последний отбой —
Сигнал окончания сбора.
Постойте, постойте, товарищ горнист,
Не время еще для отбоя.
Ведь наш командир, большевик и чекист,
Проходит вдоль нашего строя.
Последняя встреча совсем не парад,
И нам расставаться не к спеху,
Начальник смеется, он тоже рад
Достигнутому успеху.
Я песни еще ни одной не сложил,
А каждый из нас — это тема.
На левом фланге Кузьмин Михаил,
Прогнавший стрелковую немощь.
Евгений Убирия первый раз
С оружьем шагает неловко.
Надел он подсумок и противогаз,
В руках боевая винтовка.
Он мушки не видел, и пули шли врозь,
Летели и криво и косо,
Стрелять не умел он,
И в этом был гвоздь
Большого, большого вопроса.
Когда же был взят настоящий упор,
Не стало в руке колыханья.
Прицельную линию выверил взор,
И ровная мушка,
И спуск...
И дыханье...
Ну кто бы подумать об этом смог,
Что станет Убирия лучший стрелок.

* * *

Мы склонялись над картами нашей земли,
Чтоб вести батальоны скорей,
Мы встречали воздушные корабли
Ураганным огнем батарей.
Охраняли упорно советский посев,
За полями границ кайма.
Под колесами глухо шуршит шоссе.
Это мчим диверсантов поймать.
Никого не тревожит пока артогонь,
И не слышно криков ура,

Не звенит стременами разъяренный конь.
Все условно.
Ведь это игра.
Мы учились боями, учились игрой
Нанести,
Наносить удар.
Мы готовы.
Пусть грянет грозный бой,
Мы готовы, готовы всегда.

* * *

Палатки, линейки, винтовки, мишень
Мы быстро окинем взглядом,
Товарищ начальник,
Настанет день,
Когда мы снова рядом.
Нам вместе стоять на охране границ,
Страну нам беречь надо
И от надземных железных птиц,
И от земных гадов.
Сегодня уходим из дружных рядов
Опять для борьбы, для науки,
Но каждый из нас возвратиться готов
И взять
Оружие в руки.

27, VI-34.
Приморский хутор

ПЕСНЯ КОМАНДИРОВ ЗАПАСА

Пусть тучи грозно стелются,
Готовые громить.
Мы помним лозунг Феликса:
Не сдать,
Не сдать,
Не сдать,
А победить.
С винтовкой годы пройдены,
Пусть будет мысль одна —
Расти и крепни, Родина,
Советская страна.
К труду, к борьбе привычная
Перед врагом не сдать,
В отряды пограничные
Всегда готовы стать.
Перед врагом не склонится
Чекиста голова,
Поскачет наша конница,
Крепка и молода.
Мы до поры до времени
Опять ушли в запас.
Привычны ноги к стремени
У каждого из нас.
И поднят вновь тревогою
Ударник коммунист,
С тобой одной дорогою
Плечом к плечу чекист.
И будет много пройдено
В бою, в дыму, в огнях.
Расти и крепни Родина,
Советская земля.
Пусть тучи грозно стелются,
Окреп порыв бойца.
Мы учимся у Феликса
Быть стойким до конца.

Лагерь Приморский хутор
27, VI-34.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Окончены речи,
Оркестра туш,
Товарищи, слушайте друга.
И вот запевает смущенный Вануш
Про солнце далекого юга.
И песне навстречу —
Солнце из туч,
И солнце над финским заливом,
Дождями умытый солнечный луч
Искрится цветным переливом.
И песне настречу другая встает
Высокая песнь Закавказья.
Наш друг и товарищ сегодня поет
Парторг Тадеоз Сагарадзе.
И песню подхватит кружок друзей,
Под облако песня взовьется,
И в песне звенит горный ручей,
И гроздь винограда забьется.
Стремительным шквалом
Ворвался в оркестр,
По сцене поплыл Карахалис
И в танце Шамиля — далеких мест
Ритмична тень колыханья.
Быстрей и быстрей
Кричат: асса!
Стремителен танец кавказский.
Вот так бы и сам я пошел плясать,
Да нормы не сдал по пляске.
Товарищ Шумаев, есть просьба к тебе:
Скомандуй быстрей флейтистам,
Чтоб грянули быстро,
Как призыв к борьбе,
Марш смелых и стойких чекистов.
Мы с этим маршем
Пройдем до конца
Единым не дрогнувшим строем.
Под грохот снарядов,
Под свист свинца
Пройдем,
Победим,
Построим.

РОМАН О РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В СИБИРИ

Петр Поликарпович Петров — известный сибирский писатель 30-х годов, автор многократно издававшихся книг: «Борель», «Саяны шумят», «Шайтан-поле», «Золото» и др. В последние годы своей жизни он работал над романом из эпохи революции и гражданской войны в Сибири «Половодье», первая книга которого вышла в Иркутске в 1936 году. В 1962 году роман был переиздан.

Вторую часть его автор не успел закончить. Она осталась в рукописи. В ней рассказывается о событиях 1918—1919 годов, когда в Сибири временно восторжествовала контрреволюция и установилась кровавая военная диктатура Колчака. Впервые публикуемые главы и эпизоды из второй книги романа «Половодье» отражают отдельные реальные события этого драматического периода в истории революции в Сибири.

Особо следует остановиться на эпизоде вступления арестованных красноармейцев в так называемую «добровольческую» армию. Такие факты имели место в действительности. Вот что рассказывают, например, биографы видного руководителя партизанского движения в Восточной Сибири, главнокомандующего Восточно-Сибирской советской армией в 1920 году Д. Е. Зверева, попавшего в период колчаковщины из «эшелона смерти» в Александровский централ: «В начале мая 1919 года Александровский централ посетил иркутский губернский комиссар эсер Яковлев. Используя бедственное положение заключенных, Яковлев предложил им вступить в отряд особого назначения, предназначенный для борьбы с начавшимся партизанским движением против власти Колчака. Иркутская партийная организация санкционировала вступление группы политзаключенных, записавшихся в отряд особого назначения, они были освобождены из Александровского централа и направлены в Иркутск» (Годы огневые, годы боевые... Сборник воспоминаний. Иркутск, 1961, стр. 255).

Попав на фронт, эти «добровольческие» отряды переходили на сторону Советской власти, пополняли и создавали заново партизанские соединения, активно сражались против колчаковцев. Так, в частности, в августе 1919 года поступил вместе со своим отрядом и Д. Е. Зверев, вскоре ставший одним из талантливейших народных полководцев времени гражданской войны в Сибири.

В. Трушкин

П. П. Петров.

ПОЛОВОДЬЕ

Главы из второй книги

— Нет, фартуки придется надевать вам со стариком.

— Ну, посмотрим еще...

Скрыдлов обтесал колоты мастерски, выровнял, чтобы при переноске не особенно резало плечи. Хозяин сел на свежий пень. Закурил и распланировал:

— Обколотим эту сопку кругом, отграничимся от Бездри. Посмотрим и, может быть, не полезет.

Яшка выколотил трубку, прищурил глаза.

— Что за птица этот Бездря! У него двойной лоб!

— Не двойной, а покрепче тебя будет... За убой урядника в романовском доме сидел...

— Тогда мы с ним сговоримся.

Хозяин недоверчиво посмотрел на Скрыдлова и прикусил ус. Кирьян снял гимнастерку, свернул ее и наладил пучок на правое плечо.

— Андрей, ты со мной собираешь! — загадочно и намекающе спросил он.

— Все равно.

Работу начали дружно. Колоты Забродину и Кирьяну показались вначале легкими. Но шишка валилась от легкого удара, собирать ее мы не успевали. Облачившись в мешочный фартук, Савелий Ефремович бегал то к Забродину, то к Кирьяну. Собранные шишки сыпал в отдельную кучу, посмеиваясь, говорил:

— Благодать-то какая... Недельки две такой работы и оправдались. Только бы Бездря не подпакостил.

Яшка и Кирьян, заняв полосу по кромке сопки, не уходили друг от друга в противоположные стороны. Скрыдлов учил меня набивать мешки шишкой. Несколько раз встряхивал их, уминал шишку кулаком. По краям отверстия затыкал пихтовые ветки.

— Будем знать, сколько пудов в день наколотим, — говорил он. — Мешок шишки — пуд чистого ореха. Боюсь, как бы моряк не сорвал охотку. По первости в тайге всегда задор берет. А, глядишь, наломается, как молодой жеребчик, и на ноги сядет.

Принесли по восьмому мешку. Скрыдлов дал мне топор и сказал:

— Сделай затесы повыше на всех деревьях. Кругом кучи.

— Зачем!

— Чтобы издали было видно. Отойдем подальше и начнем блудить.

Вскоре подошли Кирьян и Забродин. Оба упрели. Шевелюра Яшки скаталась с хвойными иголками. Он пошевеливал плечом, но улыбался. Работа увлекала его.

— Вот твои хваленые орехи! — мигнул он Кирьяну. — Сколько ты деревьев обколотил!

— Я не считал...

Скрыдлов и хозяин рассмеялись.

— Сроду не считались здесь кедры, — покатывался старик. — У нас мера другая. Кто больше мешков снесет в кучу. Вот как надо понимать.

Старик подошел к Забродину и пощупал побагровевшее плечо.

— Стучит!

— Что стучит!

— Кровь оттуда...

— Немного ломит, но пройдет... Дай втянуться.

— Не втянешься... Ладь подкладку, а то и мешки с шишкой носить не будешь.

— Ничего, парень молодой, — успокаивал всем довольный хозяин. — Думать только о боли не надо, она и пройдет... Боль к молодому не липнет...

Пока курили, Савелий принес сухарей и в котле воды.

— Приваром заниматься некогда, — объявил он. — День-то с куриный глазок... Не успеешь повернуться. К ужину сухарницу сделаем. Напретесь, как боровья.

Скрыдлов отворотил камень, из-под которого булькала зеленоватая вода, углубил руками ямку и начал макать сухари.

— Челдонское масло, — зубоскалил Кирьян.

Яшка сердито топорщил губы, чесался. Пот разъедал кожу, пропитывались запахом смолы одежда и тело. Работа постепенно заглушила тяжелые воспоминания о пережитом, уходили невеселые мысли, появлялись новые. Дальше отодвигались призраки бедствий. Яшка запил водой сухарь и обратился к хозяину:

— А где же, папаша, твой новобранец!

Савелий Ефремович вытер руки о купленные шаровары, боязливо оглянулся и растянул губы в принужденной улыбке.

— Воин-то... В тайге... Поближе к домашности. Нарочито отправил туда. Если какая неминучая — в полдня будет дома.

— Почему же не послал его с нами! — спросил Кирьян, ощипывая с зеленого кустика переспелую чернику.

Хозяин выправил из угла рта ус, погладил его и укоризненно ответил:

— Как вы не поймете... Парень будет около дому на каждый день. Кто обмолотит мне хлеб! А будет туго — пошлю к вам или сдам начальству.

— Да-а, — швыркнул носом Яшка. — Метишь в две цели, сойдет, значит — сойдет, а нет — повезешь парня к воинскому начальнику...

— Не отмолишься... Такое наше дело... Мужику защиты ждать не полагается.

— Такому, как ты — понятно.

Забродин поднялся, передернул плечами, будто примеривая ровно ли они стоят, и пошел к колоту. Скрыдлов подвязывал фартук и косо смотрел на ссыпанную отдельной кучкой шишку хозяина. Тот поймал взгляд старика и виновато заулыбался:

— Хочу вьюка увезти... Чем порожнем гнать коняг, утяну на них пуда по четыре... На молотьбу деньжонки будут...

Кирьян промолчал, но когда мы отошли от кучи, плюнул и пробурчал:

— Ну и жадюга... Нет, чтобы самому наколотить, он приспособился к готовой шишке. Так и знай, навьючит пудов по шесть на седло.

— Пусть хватает, — равнодушно ответил я. — Скоро уедет.

— Да, пожалуй, нам теперь хозяйство не наживать, — согласился земляк. — А в своих краях побывать охота. Тебя тянет, Андрей?

— Немножко...

Кирьян оттянул от кедра колот и загляделся на раскинувшуюся в низине тайгу. Мы стояли на кромке высокого хребта. Отсюда верхушки кедров из пади казались ровно подстриженными. Тайга замерла в мудром, только ей понятном молчании. Среди кедровников чувствовалась какая-то необыкновенная чистота, как в заботливо обихоженном саду. На гриве сопки под ногами пышным ковром лежал зеленый мох, чуть засоренный брусничником и кустиками черники. Ни ветерка, ни резкого движения воздуха. Сквозь густые темные ветви кедровников мягко падали желтые пятна от солнечных лучей.

И казалось, что тайга, прежде чем погрузиться в длительный зимний покой, любовалась вечным и роскошнейшим своим нарядом, гордилась неотъемлемой волей и силищей.

Кирьян тряхнул головой и перенес колот к тонкому кедру, с сучьями только на макушке. Будто срывая зло за наши житейские неудачи, со всех сил нажал на колот. Кедр вздрогнул, шишки с шумом и свистом вонзились в мягкий мох, а две в мелкие куски расшиблись о валежину.

К вечеру мы обошли сопку кругом, не собрав шишек и пятой доли; они лежали вокруг кедров, как комья в засоренном крестьянском дворе. Яшка, взмокший, с красным лицом, поставил колот к кедру, — издали он был похож на крест, какие ставят на деревенских кладбищах, — и сел на упавшую пихту.

— Сколько мешков снес? — спросил он меня.

— Четырнадцать, а вы как?

— На два отстали, — признался Скрыдлов.

— Это бывает поперво́сти, — премиряюще сказал подошедший хозяин. — Завтра выровняетесь, если постараетесь. Давайте-ка собирать, а то скоро стемнеет. В тайге ночью не работа.

По обычаю таежников мы набрали каждый по мешку, взвалили их на плечи и гуськом направились к куче. Не меньше половины нашей оказалась добыча хозяина.

Збродин осмотрел ее и усмехнулся:

— Тебе, Савелий, бог подает не худо. Сколько дней будешь промышлять около нас?

— Завтра к вечеру снимусь, если поможете истереть шишку.

— Да уж поможем, — рассмеялся Кирьян. — Уезжай скорее, а то коней здесь заморишь.

Хозяин и Скрыдлов ушли варить ужин, а мы остались набрать к чаю брусники и набухшей перезрелой черники. Губы у всех сразу почернели. Ягоды сочные и приторно сладкие утоляли жажду. Уставший Збродин ползал по мховой перине на животе и обрывал бруснику зубами.

— Вот ты говорил, не жизнь в тайге, — посмеивался Кирьян, — Привыкнешь, так зимовать здесь останешься.

— Может быть, — загадочно мычал Збродин. — Ты Дарьюшке-то набери ягод с мешок, отплатит мягким пирогом.

— Про это сами знаем, — засмеялся польщенный Кирьян. — А ловко она тебя обстреляла.

— Думаю, что и ты на сухом проехал.

— Ну, как сказать... Если у меня Лукерья подкачала, то Даша поедет в наши края.

От стана закричал Скрыдлов. Забродин встал на ноги и покачал рукой.

— Правая тяжелее стала, — указал он на руку. — Придется завтра для равновесия с левого поколотить.

Около избушки Скрыдлов делал рубчатые вальки для терки шишки, а Савелий трещал в кустарниках у ручья, где звенели боталами и шеркунцами лошади. На тагане висел большой котел, из которого торчала глухариная нога.

— Слыхали! — спросил старик, указывая рукой за ручей.

— Ничего не слыхали.

— Собаки лают... Вот... вот...

Действительно, в промежутках, когда замолкали грубые звуки боталов, из-за ручья доносился глухой собачий лай.

С котелком красной смородины подошел хозяин и как нечто катастрофическое сообщил:

— Бездря приехал... Поселился, варначья душа, под самым боком... Так и чуяло мое сердце. Вот не найдется доброго человека стукнуть такого пса. Ведь все равно пропьет да потаскухам расшвыряет, хоть двести пудов добудет. Известная посельга. Для других пользу сделает, а сам голодом зиму прошляется. Вот он какой, сокол — шкура его на кол...

Поужинали. Хозяин внимательно присмотрелся к нам, докончил доску с такими же рубчиками, как вальки, собрался тереть шишки.

— Спите, намаялись, — говорил он, уходя. — Может быть, утром придется отбиваться от Бездри.

— Силы наши бережет, — полусонно бормотал Яшка. — Очень надо воевать с каким-то Бездрей. А впрочем, интересно удариться с ним, люблю артистоватых людей.

Уснули дружно, не замечая скрипа нар, жары от каменки и певучего шума тайги. Но и сон не заглушал ноющей боли в наломанных костях старика Скрыдлова. Охотник часто ворочался, курил, выходил из избушки.

Утром еще до восхода солнца пришел хозяин. Я вышел и застал его беседующим с охотником около костра. Несмотря на холодок, лоб у него был мокрый, глаза округлились.

— У вас есть добрые ружья и отчаянность, — говорил Савелий Ефремович. — Тут надо сделать так, что ни следа, ни запаху. Проследить его одного и стукнуть, другие-то вряд ли полезут нам наперебой.

Скрыдлов сердито грыз орехи, смотрел в огонь.

— Ничего не выйдет, Савелий, — отвечал он. — И словами не греши. Тайги хватит... Дурак будет из-за нее войну открывать.

— Да ведь жалко. Он подведет свою псарню вот сюда к самой избушке и начнет колотить. Разве стерпишь. Да если бы здесь был мой Харитоша, пошли бы на Митьку с топорами. Хряпнули бы, убей нас бог. Он не впервой гадит нашим дегтевцам.

После чая Савелий привел коней. Он собирался свозить к стану истертую «невейку». Яшка потирал плечо и говорил:

— Ломит, как гвоздь вбило. Если с левого не наловчусь — придется надевать фартук... Бабьим делом заниматься.

— Собирай за мной, — ответил я.

Кирьян и Скрыдлов положили в сумки сухарей, пошли тропкой к куче. За ними повел двух оседланных коней хозяин. Далеко за темными гривами хребтов выплывало огромное, брызжущее лучами солнце. Встревоженные кедровки порхали по вершинам деревьев и резким криком разносили по тайге опасность.

Янтарной смолой блеснули на деревьях свежие затесы. С куч порхнула стая рябчиков и долго, перекатисто слышался их полет.

Хозяин остановился, дергая за повод чалого передовика. Лошади, навострив уши, храпели, раздували ноздри. Скрыдлов остановился и указал на глубоко пробуровленный след медведя. Зверь обошел кругом кучи, бросил черный помет и скрылся в низине.

— Вот это лапти, — говорил Кирьян, меряя большую ступню. — Моряк, не желаешь с ним на поединок!

— Ничего смертельного, — бурчал Яшка. — Я на уссурийских тигров охотился.

— Если не врешь, то правда.

Хозяин чесал затылок, растерянно говорил:

— Теперь — аминь... Кучу сожрет и не подавится. Надо пугало поставить к ночи. Какой я обормот. Дегтю не догадался захватить.

— Лабаз устроим, — успокоил Скрыдлов.

На кромке сопки, где мы вечером оставили колоты, кашлянул человек, затем два раза стукнул топор. Мы остановились. У Савелия Ефремовича выкатился из рук повод.

— Митька! Ранний гость... Вот-те язви тебя в душеньку, мать... Разорит, змей полосатый. — Хозяин сел на мох и схватился руками за редкие седеющие волосы.

Мы встретились с артелью Бездри неожиданно. Половинщики лавочника Индюкова уже сделали четыре колота и спешили приступить к работе. Нас разжигало любопытство посмотреть главаря Бездрю, которого представил хозяин как воинственного атамана тайги.

И вот он, заткнув в пень топор, стал перед нами широкий, чернобородый, в войлочной шляпе. Короткие ноги в промасленных тюменских бреднях широко расставлены, за поясом — длинный охотничий нож. Один глаз темный, другой рыжеватый, с желтым ободком вокруг расширенного зрачка.

Бездря был невысок, с выпуклой грудью. На вид ему можно дать не больше сорока лет. На левой стороне шеи впадина от шрама, отчего, казалось, перевешивалась на левое плечо косматая черноволосая голова.

— Что за народы! — насмешливо и властно спросил он отрывистым, пропитым голосом.

— Свои, свои, — услужливо подоспел наш хозяин. — Как рано ты поднялся... Беда... Так и ребят замучишь. Пошто к чужим займищам подкатываешься!

— А ты насеял здесь кедров-то! — Рыжий глаз Бездри замигал чаще черного, шире обнажились белые зубы. — Моли бога, что я тебя из избушки не высадил. Какое право имел занимать чужое заведение!

Яшка, чуть улыбаясь, смотрел то на Бездрю, то на хозяина, у которого тряслись купленные шаровары и подол длинной рубахи.

Савелий Ефремович едва собрался с духом и умоляюще попросил:

— Не лезь на грех, Митрий Афанасьевич. Ты тайгу знаешь лучше всех. Найдешь себе. Индюкову что! Убытком его не свалишь. А каково нашему брату! Не поверишь — в долг набрал припасов для половинщиков, ну если не добуду орехов...

На губах Бездри скользнула надменная улыбка.

— Ну, еще что скажешь! — издевательски спросил он. — Сына не женишь — раз, молотилку не купишь — два. А помнишь, ты меня мальчишкой чуть в речке не утопил! За что, спрашивается! За то, что не хотелось платить два десятка заработанных Митькой Бездрей. Эх, совесть!

Главарь новой артели оглянулся на рослого белоусого и сероглазого парня.

— Иван, начинай бить от ихней черты и вся.

— А вам тайги не хватит! — выступил вперед Яшка. — Давай-ка рассудим...

Бездря скользнул мигающими глазами по фигуре Забродина, погрозил молча пальцем и легонько поднял с земли грузный колот. Половинщики Индюкова, зубоскаля и матерясь, последовали за Митькой, оставив нас в недоумении.

Прежде других опомнился Забродин. Нежелание Бездри разговаривать с нами задело моряка за живое.

— Ах, сволочь, — сказал Яшка, засучивая рукава. Он взял колот Кирьяна и приказал хозяину: — Делайте скорее еще два таких. Будем биться до повалу.

И бой начался. Бездря и его товарищи в четыре колота захватили широкую полосу, начали обколачивать кедры, намереваясь отрезать половину сопки с самой рясной шишкой.

Рядом с Митькой, оттесняя его, пошел Забродин. Вскоре принес колот Кирьян и начал, забегая вперед, отодвигать к низине белоусого Ивана. Пока хозяин сделал третий колот, мы работали двумя попеременно. Стук чередовался все чаще и ожесточеннее. Бездря хрипел под тяжелым колотом, бил с хитрецой, пропуская часть кедров необитыми, короткие его ноги удивительно проворно сновали по мшистой зыби. И как не горячился Яшка, Бездря уходил вперед, срезая угол прямо к нашей избушке, отгоняя нас на другую сторону плоскогорья. Хозяин и Скрыдлов начали бить, когда Кирьян и Иван спустились к ручью, а у Яшки от сильного удара сломался черен колота. Бездря дико рассмеялся и сел закуривать.

— Ну, как! Напоролись! — посмотрел он на Забродина с видом победителя.

— Здоровый черт, — едва дыша, ответил Кирьян. — Откуда у тебя столько паров!

— Откуда ноги растут, — отшучивался Митька. — А хозяин-то ваш, ха-ха-ха!

Мы оглянулись на обезумевшего Савелия Ефремовича. Обливаясь потом, он поднимал и снова ронял тяжелый колот.

— Баран! — смеялся Бездря. — Сослепу не обрубил как полагается и зарабатывает грыжу. Их, жадность собачья!

Бездря подошел к нам, пытливо пощупал всех разноцветными глазами и поправил на поясе нож.

— Ну, как дальше будем делить эту дурнину! — И не дождавшись ответа, усмехнулся. — Чудаки! Это я для форсу припугнул Савушку. Вас обижать и не думал. Бейте эту сопку, вся ваша. — Широко расставляя короткие ноги, он пошел через низину к видневшемуся издали хребту. А мы, обессилевшие на целые сутки, изумленные ухарством этого нескладного человека, сидели на засыхающем черничнике и недоумевали.

— Неужели бросит поваленную шишку! — строил предположения изумленный Яшка.

— Дай-то господи, — крестился Савелий Ефремович. — Он такой... Или горло вырвет или ногу свою отрубит и отдаст... Что-то я промялся.

— С перепугу, — усмехнулся Кирьян.

— Да ведь оно как говорится... От такого дьявола ни крестом, ни молитвой... Сегодня поеду домой...

Обед из несвежей глухарины прошел вяло. Перепотевшие и усталые мы не могли есть. Солнце катилось к заходу, день кончался, мысли были заняты беспримерным поступком Митьки Бездри.

Савелий Ефремович свозил истертую шишку и начал вейку орехов сквозь берестяное решето. Прислушивался и, вздыхая, повторял:

— Совсем ушел... Он такой... Если добрый стих найдет, то... не пожалеет родного отца.

Скрыдлов и Кирьян расчистили около избушки ток. Охотник нашел на избушке лопату и сказал:

— Учитесь веять...

— Мы умеем, — отозвался Кирьян.

Но работа оказалась сложнее, чем мы думали. Чтобы отделить чистые орехи от мякины, нужно было бросать невейку вперед. И чем дальше она летела, тем чище получались в головке орехи. Скрыдлов называл такой способ очистки «навыкид». Когда орехи ссыпали в три мешка, Забродин хлопнул хозяина по спине и лукаво сказал:

— Добыл пудиков двенадцать.

— С десяток хоть бы навесилось.

Мы начали седлать лошадей. Всем сделалось грустно. Как-никак хозяин отправлялся к людям, к жизни, какою бы она ни была.

Кирьян набил в кошель фунтов пять орехов и, желая скрыть от нас, сунул Савелию Ефремовичу.

— Это передай Дарьюшке... Да чтобы без зубомойства.

— Ладно,ладно... Вы уж тут уважьте старика. Через две недели пришлю с Харитоном запасу.

— Ну, ну... Газет, книжки какие есть, — наказывал Яшка. — Если белых там пошарили, гони нарочного... Все орехи отдадим тебе.

— С богом. — Скрыдлов достал из ручья трех рябчиков и подал хозяину. — На-ка... старуху покормишь.

Чалый конь степенно зашагал по привычной тропинке. Кобылка все еще прихрамывала, отставляя заднюю ногу. Нижние бабочки в суставах у ней покривились, копыта выделялись далеко вперед.

Хозяин уехал. Долго еще звенели боталы на лошадиных шеях, пугая медведей и прочих обитателей тайги. А мы сидели около потухающего костра, погруженные в размышления. Савелий Ефремович увез наш кратковременный покой.

На пятый день закончили работу около первой кучи. Закрывая ее пихтовыми ветками, охотник Скрыдлов подсчитал:

— Если из каждого мешка выйдет пуд чистого, то на голову мы настукали по тридцать. Берите четвертую часть... По десятку еще не добыли. Почем нынче орехи-то!

— Десятки по две клади, — помогал в подсчетах Кирьян.

Яшка улыбался, глядя на вершину кедра. Там красным комочком прыгала белка.

— Как бы не заработать нам по шее, — заметил он.

— Почему! — спросил я.

— Хитрый, падло, Савва-то... Понимает, кто мы.

— Ну, у тебя все хитрые.

Вечером Скрыдлов жарко затопил каменку и объявил, что будет париться в бане. Догадка старика обрадовала всех. Без мыла постирали в ручье белье, развесили сушить. Кирьян связал из пихтовых веток два солидных веника. У каждого нестерпимо зудилось тело. Пот и смолевая сера разъедали кожу. У Забродина по груди бороздами лежали расцарапанные ссадины, мою спину усеяли прыщи. Все осматривались, выхлопывали одежду, предвкушая облегчение. Скрыдлов посмеивался:

— Ишь вот оказия... Покель не думал о бане, меньше кожа чесалась.

Кирьян для кипячения воды занял все три котла. Туесы, чашки и походные баклаги были наполнены холодной водой.

Сквозь щели избушки просачивался дым. Было похоже, что вся она горит внутри и вот-вот поднимется с пламенем к облакам.

Над тайгой висела полная ясная луна, бескрайне голубело небо. Никаких признаков осени в этот вечер не чувствовалось, хотя все суше шумела хвоя.

Скрыдлов приоткрывал дверь, плевал на каменку и удовлетворенно говорил:

— Начинает шипеть... Скутаем ее, нахлещемся. Эх, и соскучилась спина по веничку. А ноги, как мыши грызут. Завтра воскресенье устроим... Пусть Савка думает, что работаем, а нам капиталы не наживать... Зарубка вышла в жизни... Так и скажем ему. Эх, когда же опять выйдет свобода!

— Ты хоть бы мясом досыта покормил, — намекнул я.

— Верно, — поддержал Забродин. — Охотник, а моришь товарищей.

— Сущая правда... Силенку нам подберегать не мешает... А ну-ка, не пора ли!

Старик открыл дверь, из нее охапкой вылетел скопившийся дым, а сквозь него волоком сверкнули докрасна раскаленные камни.

— Поспело.

Скрыдлов начал поддавать воду. Пар и дым повалили в дверь, как в трубу. В каменке грохотало, шипело, взрывалось. А охотник приговаривал:

— Кваском бы поддать... Пользительно, всю простуду разом выгоняет... Хлебным бы...

Внутри избушки просветлело, стали видны нары. Жар из дверей полыхал нестерпимо. Кирьян распарил в кипятке веник, затем облил холодной водой и подал охотнику.

— Хлещись, дед... Да не до смерти.

Скрыдлов парился с передышками, кряхтел, кричал и смеялся от удовольствия. Выскакивал из избушки весь красный и мочил голову холодной водой. Окатился и лег около костра на расстеленный полушубок, подогнув волосатые ноги.

Последним домывался Яшка. Мы с Кирьяном варили сухарницу и чай. В это время около ручья затрещали сучья и послышался басистый голос Бездри.

— Гостей принимаете!

— Милости просим, — приподнял голову Скрыдлов.

— Ребята, за мной!

Вместе с Бездрей и Иваном пришел невысокий чернявый парень с узким морщинистым лбом и бойкими прячущимися глазами. На правой руке у него не было большого и указательного пальцев.

Митька потряс парня за ворот и фамильярно представил:

— Вася Уткин, по прозвищу Самострел. В окопах два пальца себе отстрелил. Вот как воевал за царя-отечество. По бабьей части первейший праведник и не любит покупать, когда можно так взять.

Самострел ухмылялся широким толстогубым ртом, принимая сказанное как должную похвалу. Он был подручным Бездри, это сквозило в их отношениях. Иван — Ян Мезит — спокойный молодой латыш, внимательно рассматривал нас, расспрашивал как мы сюда попали. Митька дождался, когда вымылся Забродин, и начал раздеваться.

— Хватит жару? — спросил он у старика.

— До утра парься.

Еще навесили котел. Кирьян поддал на каменку. В избушке заходили седые облака пара. Бездря хлестался и крякал как селезень. Затем выскочил, надел рукавицы и крикнул:

— Плесните еще с ведерко.

Из бани он выполз на четвереньках, долез до ручья и начал окатываться, гогоча и ухая.

Поспела сухарница. Самострел достал из-за голенища алюминиевую ложку и облизнул губы.

— Угощаете?

— Садись, — недружелюбно сказал Яшка.

Мезит укоризненно взглянул на артельщика.

— Второй раз ужинаешь...

— Хоть третий могу, — бесцеремонно посмеивался Самострел. — Голодный не оставался даже на фронте.

Пришел продрогший Бездря, начал одеваться. Холщевая рубаха у него от грязи стояла коробом. Пригладил ладонью непокорные вихрастые волосы и подсел к котлу.

— Вася не плошает... —усмехнулся он. — Обжора.

— Инвалид, а не обжора.

У Самострела пищало за ушами. Язык он высовывал, когда еще спускал в котел ложку. Бездря закурил, безразлично посмотрел на ясное небо и спросил:

— По сколько наколотили?

Старик, как поверенный во всех наших делах, замялся.

— Наскребли пудов по пять.

Бездря вздернул носом.

— Подряд взялся врать?

— Да больше и не будет, — уверял охотник, краснея в то же время от явного вранья. — Еще не узнать, сколько дает мешок.

— Ну, ну, заливай калоши. Если правду врешь, то за такую работу хлебом не стоит кормить.

— А у вас как идет дело? — спросил я.

Митька выпустил дым и обтер о бороду чубук.

— По полсотне наверняка... Считаю — больше будет. Куда теперь перекочуете?

— И не знаю, — вздохнул Скрыдлов. — Завтра хочу посмотреть...

— Идите к Барсучьим норам... Хотел сам занять таежку, но нашел ближе. Четверть водки поставите, будете с орехами.

— Не пожалеем, — сказал Кирьян. — Садись, ужинай.

— Вам самим не хватит.

Митька сверкнул разноцветными глазами на Яна.

— Ну, ты чего же молчишь!

— Не сразу, — заулыбался латыш.

— А чего тянуть. — Бездря повернулся на живот и спросил: — Кто у вас комиссаром был!

— Каким комиссаром! — притворно удивился Яшка.

— Деревянным али костяным — нам все равно. Не виляйте, ничего не выйдет... Мы по-свойски пришли поговорить... Сами были у красных. Под Нижней Удой бой с чехами держали.

Из рассказов Бездри и Яна оказалось, что к ним приезжал хозяин Индюков и расспрашивал про нас. Отряд белой милиции забрал в деревнях часть новобранцев и намеревается ехать в тайгу на поиски скрывающихся красногвардейцев.

— Кто Шабрин будет! — неожиданно спросил Ян.

— Я.

Парень улыбнулся большими светлыми глазами и протянул мне руку.

— В газете было написано про вас. А я был в полку Зархиса, — сообщил он. — Отстал на Мутной. После разгрома правительства бежал в эти места и скрывался у товарища Бездри. Не узнали меня!

Я смотрел на парня. Лгать он не мог, что-то знакомое, мимолетно встречающееся было в его широколобом лице. Но разве можно припомнить все, промелькнувшее перед нами!

Яшка уже разошелся, будто вновь собралась наша армия. Он угостил пришельцев куревом и взглянул на Скрыдлова.

— Дед, у нас где-то сало должно быть. Поджарь. Один раз на свете живем. Водчонки бы теперь хлобыстнуть.

— Дома разговеемся, — смачно причмокнул Бездря.

Разговоры затянулись до рассвета. Кирьян подживлял костер. Старик жарил остатки сала, обещаясь возместить убытки завтрашней охотой. Ян часто пил воду и рассказывал:

— Зархис ушел с передовым отрядом за речку часа за два раньше госпиталя. Я остался взять продуктов. Вихрев захотел сам переправить раненых. Когда перевезли последних и не осталось лошадей и лодок, в этот момент наскочили казаки. Вихрева и Марусю убили еще в бою, а издевались над мертвыми.

— Где же теперь Зархис и Серега! — допытывался старик. —-Ребята-то какие были.

— Они пробились в североамурскую тайгу... Твердо знаю... — И Ян, достав из бокового кармана военной гимнастерки затертое письмо, подал его мне.

Письмо было написано рукой Августа, жене. Он писал намеками, но можно было понять, что они вместе с Лузиным и Власовым. Отряд еще не сложил оружия.

— Вот это молодцы, настоящие ребята, — с завистью сказал Яшка, когда я прочитал письмо. — Надо было отступать кучей и скорее, тогда и правительство не ханулo бы.

— Теперь примеривай, как надо было отрезать, — заметил охотник. — В жару другой раз своих ног не видишь, а остыл и глядь, кровяные мозоли натер.

От Яна мы узнали, что за Уралом идут ожесточенные бои большевиков с белой армией.

Прощаясь, он сказал:

— Дальше нас есть стан, в котором живут новобранцы. Как вы думаете, если начать с ними работу!

— Обязательно! — воскликнул Яшка. — Пойдем вместе.

— Там и работать нечего, — усмехнулся Самострел, доедая сухарницу и сало. — Все пойдут, если война объявится.

Потянулись однообразные сутки. Бездря перевел нас к Белому ключу. Скрыдлов каждый день урывал время поохотиться. Не считая глухарей и рябчиков, он убил двух кабарожек, теплые шкуры которых развесили просушиваться в тени.

— Вот ударят холода, сошьем из них обутки или штаны. Хорошо бы изюбра подбить.

К началу третьей недели, когда у нас образовались еще две кучи, Кирьян заглянул в мешки и ахнул:

— Ребята, надо тереть шишку. Смотрите, сухарей хватит всего на три дня.

— На мясе проживем, — неожиданно возразил Яшка. — В крайнем случае у Бездри займем.

— А на кого нам хватать, — не соглашался Кирьян. — Доживем до снега — подохнем здесь.

— Подохнуть мудрено, — рассмеялся старик. — Орехи есть, мясо добудем, ручаюсь головой.

Но от стана в этот день пошли недружно. Старик решил посмотреть первую кучу и повел нас через Медвежью сопку. Недалеко от избушки три белки перепрыгнули через тропу и, мелькнув хвостами, поднялись на деревья.

— Видал ты, — обрадовался охотник. — Появилась. Ну-ка, снимем одну для пробы. — Он поднял двустволку. Белка смотрела на нас с сучка и чистила лапкой мордочку.

Старик выстрелил. Зверек, как кедровая шишка, свалился на землю. Скрыдлов поднял его и удовлетворенно сказал:

— Почти дошлая...Вожжанка. Вот ты, братец ты мой. Теперь жди и жди зимы. Верная примета. Пожалуй, и впрямь возьмемся за терку.

— Я говорил, — восторжествовал Кирьян. — Мы начнем тереть, а тебя отряжаем на охоту. Этот товар нам полезнее ореха.

— Верно, — согласились я и Забродин.

Старик обрадовался. Вернулись в избушку, забрали пилу, топоры. Охотник забрал все заряженные патроны, повесил на плечо мешок и, сверкая помолодевшими глазами, пообещал:

— Помогу сделать вам машину, а то вальками-то протрем до казанской божьей матери.

Белки и рябчики шумели по деревьям. Все указывало на скорое приближение зимы. Холоднее стали порывы ветра. На западной стороне неба появились серые тучи; они медленно двигались, как разорванные льды на Байкале.

Не дойдя до кучи, старик остановился и открыл рот.

— Вот тебе здравствуйте. Побывал, сукин кот.

Куча оказалась не только раскрытой, но и развороченной. Поверх нее валялось множество вышелушенных кочерыжек и медвежий кал.

— Разбойник, он и есть разбойник, — беззлобно говорил Скрыдлов. — Ах, мать его курица. Вот проглядел я, старый дурак.

— Ничего, мы подкараулим его ночью, — утешал Забродин. — Это хорошо, что он ходит сюда.

— Ходил, а теперь зачует человеческий дух и забастует. Нажрался, поди, как бочонок. На зимнюю лежанку жир копит. Давайте шуметь потише.

Скрыдлов нашел сухое дерево, сваленное бурей, и облюбовал его для поделки машины. К обеду они с Кирьяном сделали барабан с острыми зарубками и такой же станок. Вместо гвоздей старик закреплял части деревянными костылями. Дробилка вышла неуклюжая, тяжелая на ходу, но шишки разминала быстро и чисто. Мы с Забродиным за две ручки едва повертывали барабан. Часто отдыхали, Кирьян бросал в мох шишки и шутил:

— От этой механизации спать будем крепко. Крутите смаху.

Ворох невейки быстро прибывал, но еще быстрее расходовались силы.

Перед вечером, когда мы, изнуренные, лежали на мху и грызли вкусные орехи, подошли с ружьями Ян и Самострел, за поясами у них висели белки и рябчики. Самострел держал в руке котел, полный брусники.

— У вас тоже сожрал! — сказал он. — Вот окаянный. От нашей кучи сделал тракт к вашей. Да, здоровенный чертило. Давайте делать лабазы.

Самострел говорил и в то же время успевал есть бруснику.

Ян подсел ко мне и подал газету, ткнув пальцем в жирный заголовок «Большевики действуют». В заметке сообщалось, что ушедшие на восток красные организуются в амурской тайге. Но каково же было изумление, когда в конце я прочитал, что в верховьях и низовьях Енисея сгруппировавшиеся остатки красногвардейских банд безболезненно появляются в подтаежных деревнях и на хуторах, агитируя население не подчиняться правительству.

— Кончим работу и подаемся туда, — твердо сказал Кирьян.

— Обязательно. — Я посмотрел в усталые, ничего не говорящие глаза Забродина. — Какое твое мнение!

— Обождем, пока не убьем медведя.

— Его к Нине поманивает, — вмешался Кирьян.

— Хоть бы и так... Не думаете ли вы, что деревня свалит белую власть! Дурница. Вот когда города зашумят — это да.

Яшка противоречил себе на каждом шагу. Вечером он с увлечением строил планы, собираясь создать отряд из новобранцев. Расспрашивал Скрыдлова о местности, подсчитывал предполагаемое в деревнях оружие.

Все обстояло благополучно. А сегодня Забродин рассуждал поиному.

— Ты память заспал, — подшучивал над ним Кирьян. — Клади под голову онучи, никогда не забудешь о чем думал с вечера.

Как-никак, но мы получили утешительные вести. Прошла усталость. Кирьян выбрал два рядом стоявшие кедра с крепкими сучьями, стукнул обухом топора по стволам.

— Самострел, как по-твоему, можно здесь устроить лабаз!

Тот посмотрел на деревья и, прожевывая ягоды, отрицательно покачал большой головой.

— Нет. Близко к куче... Духом нанесет и не пойдет.

— Это откуда ветер будет дуть, — возразил я. — Но лучше бы дождаться старика.

— Есть когда. Скоро ночь, — запротестовал Яшка. — Делайте, а я схожу в стан за харчами и приготовлю хорошие пули.

Ян и Самострел ушли вместе с Забродиным. Мы начали делать полати из валежника. Кирьян работал проворно. Из коротких бревен накололи горбылей, сколотили подстановки и небольшую лестницу.

Кирьян между делом рассказывал:

— От Бездри я дознался, что к нашим местам отсюда пройти прямее, чем по железной дороге. За семь суток свободно доберемся до речки Атласной, а там дядя Спиридон. Арсенин, наверное, около него околачивается.

— Хлеба на дорогу, пожалуй, не достанешь, — сомневался и в то же время радовался я предстоящей встрече с земляками.

— Достанем. Тот же Савелий в расчет за орехи даст сухарей.

— А снега!

— Наладим хорошие камосные лыжи. Шкуры у нас есть, еще старик убьет зверей. Да не бойся, в тайге зимой теплее, чем в степях. Если моряк не пойдет — просить не будем. С нами собираются Бездря, Самострел и Ян.

— Почему Бездря и Самострел! — не понял я.

— Они в пьянке какого-то милиционера убили, а теперь показываться боятся. С хозяином у них есть уже сговор. Рассчитает за орехи здесь и они думают податься к западу.

— Когда это ты узнал!

— Вчера с Бездрей разговорился. Встретим его около старых сусеков, где наша третья куча.

Все складывалось в пользу похода. Но меня беспокоила мысль о Забродине. С Яшкой, особенно теперь, расставаться не хотелось.

В тайге потемнело. Назойливые кедровки безопасно летали над головами, садились на кучу, будто поддразнивая нас, и снова взвивались к вершинам деревьев. От мха запахло сыростью. Яшка вернулся веселый. На палке он нес большой кусок зажаренного, еще горячего мяса. И сообщил:

—Старик козла подшиб. Смотрите, жирный, как осоок. Скоро сам придет. Но, говорит, что медведь сегодня вряд ли появится. Ночь тихая.

— И, главное, нажрался он на целую неделю, — добавил Кирьян, пожимаясь от холода.

Но мы все же остались, условившись прокараулить не больше часа.

Старик подошел прихрамывая, выгнув спину, будто в нее всадили гвоздь, и насмешливо бросил:

— Охотники... Кто же курит около скрада! Еще песни затяните. Спать надо, а утром на работу. Зима подходит, вот-вот ляжет снег.

Скрипел, а сам заряжал двустволку.

Вчетвером на лабазе оказалось тесно. Старик перелез на рядом стоявшее дерево и примостился на двух суках.

Наступило томительное молчание. Мы держали наготове винтовки и, чтобы не задремать, Яшка шептал:

— Знаешь, я нашел способ как отправить Нине письмо. У Самострела милаха живет в деревне, она ездит на станцию торговать самогонкой. Через нее можно получить ответ.

— И ничего не выйдет, — охладил я друга. — Забываешь, что она в тюрьме, а оттуда письма не пишут.

— Чего ты о ней сохнешь, — удивился Кирьян. — Ты изводишься, а встретитесь, и она не захочет знаться.

— В тебя врежется, — ядовито усмехнулся Яшка.

— Ну, я-то посмотрел бы еще.

— Тьфу! — осердился Скрыдлов. — Охотнички...

Старик закарабкался по стволу вниз, где-то далеко послышался треск. Мы замерли. Охотник подбирал двустволку, укреплялся на гибких ветвях кедра, что-то едва слышно бормотал. Услышал ли зверь опасные шорохи, или старался сам не делать их, но несколько минут присутствие его обнаружить не удавалось. И мы пришли к заключению, что все ослышались.

Забродин сидел впереди нас с Кирьяном и держал винтовку около плеча. С именем медведя у всех с детства связан непонятный страх. Нам, опаленным огнем войны, стыдно было признаться в этом. Но у всех дрожали плечи. Скрыдлова мы не видели и не представляли, как он чувствовал себя.

Забродин потихоньку отвел предохранитель и шепнул:

— Идет.

И действительно, неподалеку от кучи что-то зашуршало. Мы с Кирьяном не успели еще рассмотреть в темноте медведя, как Яшка спустил курок. Неожиданный выстрел заставил вздрогнуть. Зверь метнулся, с треском пропал в тайге.

Скрыдлов свалился на землю и начал ругаться:

— Эх, храбрецы! Кто это у вас! Слазьте, умные головы.

Осмотрели место, где находился зверь, и Кирьян залился громким тоненьким смехом:

— Почему не привязали его к кедру!

— То-то, не привязали, — рассердился старик. — Знал бы, не связывался бы с вами. Не придет больше косолапка. Так и знайте.

Забродину было не по себе. Он ушел к стану вперед и лег спать без ужина.

Ночью необычно зашумела тайга, сначала как вылетевший из улья рой пчел, затем как прибой Байкала. В разбушевавшейся лесной гуще трещали и стонали надломленные деревья. Воздух в избушке стал влажный. Около двери взвизгивала продрогшая собака. Отзвуки шума катились вдаль по безграничным хребтам и падям.

Скрыдлов вышел, сказал изломанным голосом:

— В белую шубу обряжается дубрава. Надо топить каменку.

В приоткрытую дверь видно было мелькание снежинок. Едва слышно поскрипывала, оседая, тонкая драньевая крыша. Вбежала собака и заюлила хвостом, от нее пахло первым еще не отвердевшим снегом.

Старик бросал к каменке замокшие дрова и говорил:

— Вот и отработались. Поднимайтесь-ка. Теперь надо сутками работать, чтобы прибрать к месту орехи.

До рассвета вышли расчищать ток около первой кучи. Забродин сердито сопел и жаловался:

— Думал шутки, а плечо ноет с каждым днем тошнее. Бросить бы всю эту музыку. Пусть Савушка дорабатывает сам.

— Пробросаешься, — ворчливо возражал старик. — Казенных хлебов нашему брату теперь не дают.

— Дадут, если попадешься в лапы.

Снег лежал в полметра толщиной и совсем не собирался таять.

По бокам тока образовались сугробы. Скрыдлов часто грелся около костра, затем взялся вертеть машину.

До вечера нужно было построить сусек, потому что чистые орехи было рискованно оставлять на точке. Старик поучал:

— Добро у нас первый сорт. И надо ссыпать орехи сухими. Попадет снег — испортить может все дело. Один раз у нас с братом случилась задорина, всю жизнь не забудешь. Так же вот делали орехи в ближней тайге. Мы, видишь, были молодые, ловкие. Работнули на совесть — одно слово. Когда стали добычу ссыпать, оказалось по восемьдесят пудов на брата, а у соседа с двумя половинщиками и по тридцати не набралось. Вот тут и заскребло его. Да мы сами сплоховали. Надо бы наперво проводить его из тайги, тогда уж выезжать, а мы поторопились домой...

— Что же он сделал? — спросил я.

— Водички подлил в наши сусеки... Так всегда пакостили худые люди своим соседям. Эх, дурницы же бывало у нас, — старик почесал в бороде и поморщил изрытый морщинами лоб.

— Сам сознался, — злорадно сказал Яшка. — Деревня, она и есть деревня. Жадность — одно объяснение.

— Это верно, — начал поддакивать охотник. — Ну, это приехали мы зимой за орехами, а они все сгорели дочерна. Задохлись, стало быть, потом замерзли и лежат льдиной.

— Голову надо бы отрубить соседу вашему, — сплюнул Кирьян. — Сколько работы было.

— Да ведь не то еще... Орехи-то мы лавочнику запродали, пока в тайгу не ходили. В долг залезли, а тут и обремизило. Но и ему, собаке, не подфартило.

— Сдох? — спросил Яшка.

— Опрокинулся... За него наш младший брательник до самой революции в каторжных работах отбывал.

— Значит, и у тебя жизнь со скачком вышла.

Старик принялся за вейку. Сухая мякина отделялась легко, быстро начал расти ворох желто-коричневых орехов.

— Без скачков не проживешь, — продолжал Скрыдлов. — Трех баб похоронил, да два раза горел. Всю жизнь рубили крылья. Чуть поднимешься, а тебе тюк — и сел. А под старость вот пришлось на бродяжьей дорожке петлять. Это мать виновата...

— Как? — удивился Кирьян, бросая с плеча бревно.

— Этак... Вы вот в судьбу не верите, а я толкования ей не могу дать. Родился я в сочельник. Тут вот и заковыка. Это проверено стариками. Вот сны тоже туманное дело. Не объясню себе и никто из ученых не довел меня до ума. Как увижу, что проваливаюсь в яму, так и жди гостинцев. Вот хотя бы перед тем, как умереть моей матери. Приснилось мне, что сосед Михайло Хомутов столкнул меня с яра. Я грохнулся так, что все передние зубы вылетели. А на утро покойница матушка занемогла и через неделю испеклась. То же и с отцом...

— Эти сны от обжорства, — полусердито, полушутя перебил охотника Забродин. — Напрутся капусты с ржаной ковригой и летают по тому свету. Такие сны я, брат, часто вижу. Родни не хватит...

— Может, и так, — сдал старик. — Спорить не люблю. Вот в попов я давно не верю, еще с японской войны. Сам видел, как попы благословляют нашего брата, посылают через огонь в рай. Но о боге еще не решил. Как подумаю ,что нет его, и станет страшно. Кто-то должен стоять выше людей, чтобы, значит, они побаивались и совесть знали.

— Ну тут я с тобой совсем враг, — смеялся Забродин. — Хм... Странно, пошел драться за революцию, а возится с богом. Темнота это. Против кого мы идем!

— Это мне понятно... — нетерпеливо отмахивался старик. — Земля там... Фабрики, равенство, значит, а не могу додуматься, чем вреден бог. Он где-то на небе, ни есть, ни пить у нас не просит. Так, для острастки существует. Ну и пусть сидит. Если бы люди не боялись того света, то делов бы наворочали, на коне не увезешь.

— У вас в деревне Вихрев или Буров молились, по-твоему? То-то... У нас новый бог — сознательность. Вот, — Яшка поставил перед глазами старика мозолистую ладонь с искривленными неровными и залепленными кедровой серой пальцами. — Вот наш закон. На бумагу не пиши. Вернее всяких евангелий выходит.

— И это нам понятно. Но о боге и ты не обскажешь как надо.

Старик работал проворно, успевая провеивать натертую шишку, указывать Кирьяну, как строить сусек. Из вытесанных кедровых плах плотно сколотили пол, подняв его на полметра от земли. Охотник проверил пальцем пазы и похвалил:

— Ладно, Киря. Хоть и для хозяина работаем, а добро портить нельзя. Сердце не лежит.

Начали вытесывать желобки для крыши. Скрыдлов посмотрел на остатки недотертой шишки.

— Если так пойдет работа, через недельку управимся. Завтра я вам не компаньон. Видел давеча два собольих следка. Судите, как знаете, а я ухожу.

— Ну, ну... Отпускаем. Нахлопай на гуменку, — одобрил Яшка.

Около избушки горел костер. Нас ждал Бездря, Самострел и пузатенький человечек с рыжей перепутанной бородкой. Человечек мал ростом, с бойкими, глубоко посаженными глазами, нависшие лохматые, посыпанные сединой брови будто для того и существовали, чтобы прятать глаза незнакомца от белого света.

Он отряхивал черненький новенький полушубок и шмыгал глазами по нашим лицам. Заговорил первый:

— Здравия желаем... Как поработалось? Вот и зима пожаловала. А одеты-то вы не пышно. Здоровья спросит такая лопотина.

Бездря смотрел в землю. Было видно по выражению смуглого лица, что слова говорившего раздражали старшего артели, были знакомы ему давно. А Самострел успел шепнуть Яшке:

— Наш хозяин. Индюков... Така стерва, нож об нем плачет.

Начали готовить ужин. Старик повесил котел с козлятиной и уныло покачал головой.

— А хлеба-то у нас и нету.

Индюков провел рукой по бородке, тоненько рассмеялся:

— Худо кормит хозяин. Это он на мощи готовит вас, ребята. Чудак.

Набрал людей, а жила тонка. Они думают, орехи — хаханьки. Нет, ты подсчитай, на костях все прикинь. Сам в долг забрался, а половинщиков снарядил. Ну и вышло решетом. И морит добрых людей. А чем, спрашивается, будет расчет держать! Вам надо сдавать орехи, деньжонки потребуются и тому подобное. Хозяева тоже. Вы вот спросите моих ребят насчет харчей и всего прочего. Поработали люди, стало быть и надо ублаготворить их. Так гласит новый закон. Я привез своим ведерко водки царской выгонки. Пей и не поминай лихом. Вот как делают настоящие-то хозяева. А Савушка — что! Придется вам натощака домой шагать.

Голос Индюкова звенел как ручеек по камням. Краснобайство его бесило Яшку. Все поняли, что пожаловал купчина в наш стан неспроста.

За избушкой, привязанная к дереву стояла серая сытая лошадь, она переступала разбитыми ногами и покойно похрапывала, будто только что пришла с водопоя.

— Митрий, ну-ка принеси ребятам булку, — распорядился Индюков. — В таежном деле врагов нет... Тута помощь самая дорогая штука. Человек живет человеком.

Бездря нехотя толкнул Самострела.

— Ступай.

Индюков бегло взглянул на старшего артели. Видно было, что он побаивался Бездри, ожидая от него всяческих неприятностей. Самострел держался услужливее. В натуре его все сразу почувствовали фальшь. Без хозяина он похвалялся выпустить ему кишки. Даже о Бездре, перед которым заискивал, он за глаза говорил: «Сволочь, такому не клади пальца в рот».

Индюков входил в роль. Разрезав белую большую булку, он будто поддразнивал нас, поливал медком слов.

— Ешьте, ребята... Сам испытал участь рабочего человека. Знаю... Годков десять у Свистунова на складе ворочал тюки разные. Голод нам — родной брат. Из сеянки булочка-то, первый сорт.

И к нашему изумлению, вытащил из широкого кармана полушубка бутылку водки под сургучной печатью.

— Это для первого знакомства. Будто дела нам делать предстоятельство есть. Хи-хи. И чтобы кончить по-хорошему. Вот как. За ваше здравие.

Индюков налил в чашку и с протяжкой выпил сам. Забродин насмешливо мотнул головой и сказал:

— Лей полнее.

После того, как бутылка опустела, исчезла булка, Индюков прямо приступил к делу. Поглаживая рыжую бороду, он сказал:

— Теперь мы обсудим вот какую сторону. У вас, стало быть, имеются орехи. Держать их до вывозки не по вашим животам. Савушка купить их не может, потому что на это надо иметь в кармане. А у него, кроме трубки да табаку, ничего. Ну я подумал, что ребят надо выручить, и вот приехал. Может быть, вам и выходить-то из тайги не желательно. Таким слухом я пользовался в деревне. — Индюков многозначительно сощурил глаза, искривил губы. — Ищут там вашего брата. Спрашивал у меня недавно один офицер. «Проведи, мол, к ихнему гнездовищу». Но нешто пойдешь на такое дело. Боже избави. Сам на складе у Свистунова горб ломал, знаю.

— Не тяни, Астафий, — нетерпеливо тряхнул головой Бездря. — Не люблю. Говори мужикам цену.

— Ты не любишь, а другим это по нраву. Экой ты, Митя. В торговом деле без умного слова нельзя. А цена известная: почем вам дал, по том и им. Скажем, орех на базаре по десять рублей. Ну, смарываем за вывозку по рублику. Девять чистого выходит. Спорить мы любим.

Скрыдлов подправил костер. Сухие дрова вспыхнули жарко, трескотливо. Клубы искр сыпались на нас, как из трубы, вокруг костра таял снег. Несколько минут молчали, озадаченные словами лавочника. Индюков своевременно учел наше положение. Савелий денег отдать сразу не мог — это было ясно. Во-вторых, Индюков легко мог выдать нас. Забродин стал торговаться.

— Ты, хозяин, не обижай обиженных, — начал он с высокой ноты. — Мы знаем, что орехи не по десять, а по двадцать рублей. Но рядиться не в нашем духе. Отваливай — на круг по полторы десятки, и нечего зубы чесать. Половину возьмем товаром. Дашь валенки, полушубки, бельишко, ну и ружейные припасы.

Индюков, склонив голову, прослушал Яшку не шевельнувшись. В уме он что-то прикидывал, осмысливал или просто делал вид серьезного торговца, доброжелателя человечества.

— Не погубите, — всплеснул он короткими руками. — Разорите до нитки. Как же я вам буду платить по пятнадцать, когда вот у ребят, — повернул голову в сторону Бездри и Самострела, — взял по десятке...

— Не плутуй, Астафий, — опять грубо оборвал Бездря. — Все равно узнают, что забрал у нас по шестнадцать.

— Ах ты, господи животворящий! — покатился лавочник. — Взял помощников на свою голову. Продали с копытами и подковами. Ну, делать нечего... Даю запрошенную цену... Ведь надо же поторговаться. Без этого какой же ты будешь барышник. — Косо сверкнули из орбит на Бездрю бойкие глазки. — Эх, Митрий Пахомович! Благодарить бы надо вам меня, что сердце отходчивое да язык послушный. Другой бы даром взял орехи. Ведь всем вам показываться на людях, как волкам в собачьей волости.

Мягко говорил купец Индюков, но от его слов холодело сердце. Даже Бездрю и Самострела заколотила дрожь. После долгого молчания я спросил:

— Расчет здесь дадите!

Купец встрепенулся, взял прежний нахальный тон.

— А как же... Половину, то есть денежные суммы, могу внести. А товар доставлю через недельку в аймак. Это чтобы вам не показываться в русских деревнях.

— Нам бы все сразу, — вмешался Скрыдлов. — Ты уж выручай, добрая душа. Будем иметь дело только с тобой. У нас бельчонка найдется, а завтра я надумал за соболем погоняться.

Индюков уехал, довольный торгом. Взобравшись при помощи услужливого Самострела на серую лошадь, он заболтал ногами в козловых сапогах и, сняв шапку, взмахнул ею. Когда хозяин скрылся под горкой, Бездря сквозь зубы выдавил:

— С-сука ошпаренная. — И повернулся к Самострелу. — А ты давно нанялся к нему в подмастерья!

Парень зашлепал толстыми губами, не подыскивая слов для ответа.

— Небось... Когда надо — первый сверну ему рыло.

— Малявка.

Бездря с загрубелой ладони перебросил уголек в трубку, раскурил ее и сказал:

— В аймак нам выходить не придется.

— Почему! — поднял голову Забродин.

— Кордон милиции поставлен. Придется поискать другой дороги.

— А если на Енисей податься! — Кирьян бросил чистить винтовку и зачихал от дыма.

Бездря скреб бока так, что трещала холщевая рубаха.

— Подняться не хитро... Хаживал я лет десять назад. Но в нашей хламиде подохнешь. Морозы подступают.

— В шкуры обрядимся. Кое-где в деревни будем выходить. Прикупим полушубки, валенки.

— Видишь, покупалки-то нам в руки не дают еще. На Асташу надежа, как на дурную собаку. Того и гляди укусит, сволочь. Знаю я его. Не одного бродягу в пруд спустил.

— А нынче мы его спустим, — загадочно улыбнулся Самострел.

Бездря взглянул на него как на ничтожество, для которого жалко тратить слова, и поднялся.

— Суленые деньги я бы вам присоветовал получить, ребята, — сказал он. — Кумоваться с хозяевами нечего. Пойдемте кто-нибудь. Целое ведро водки Асташа привез. Выдавим из глотки.

Забродин взял винтовку и кольт.

— Ну, а с Савушкой как! — забеспокоился Скрыдлов. — Не хорошо... С человеком уговаривались. Из последнего мужик тянулся.

— Если денег привезет — отдадим орехи ему.

— Вот это умно! — рассмеялся Самострел. — Хозяева нас не очень жалеют. Правильно.

Яшка ушел, а мы, лежа на жестких нарах, долго обсуждали его поступок. Больше всех беспокоился старик.

— Какое же будет наше слово. Будь бы Савушка буржуй, тогда другая статья... Почти месяц харчил нас, кобыла чуть не утонула.

— Но ведь мы не его орехи, а свои продаем, — успокаивал Кирьян. — А если придется идти в дальнюю дорогу!

— Гадай надвое, — вздыхал охотник. — Ему подковы дороги, а нам голова нипочем.

В полночь прибежали Яшка и Ян.

— Самострел сварился, — закричал Забродин.

— Как сварился! — поднялся я. — Ты не очумел ли от индюковского угощения!

Но Забродин был трезв и рассказал:

— Обожрались там все, кроме Яна, в лоск. Индюков досадил Самострелу, кинул в рожу поленом. А сидели они около тагана — друг против друга. Самострел попер на хозяина как зверюга и грохнулся в огонь, а на него вылились кипящие щи и чай.

— Живой! — соскочил старик.

— Пока дышал. Не знаешь ли лекарства какого! Жалко парня.

— Тогда идемте, помогите, — настойчиво попросил Ян.

— А деньги взял! — спросил Кирьян.

— До денег тут!

В стане Индюкова шумели, лаяли собаки, ржали лошади. Измокшие от сырого снега, с поцарапанными лицами, мы подошли к большой избушке. Около костра сидели половинщики, обросшие бородами, пьяные. Митька Бездря лежал на боку с разорванной от ворота до подола рубахой и черпал из котла водку деревянной чашкой. Рядом с ним сидел хозяин. Он старался казаться таким же пьяным, как половинщики, и кричал:

— Пей, ребятушки, за наше здоровье! Погорельцу-то подайте. Лейте прямо в рот. Отойдет обязательно.

— Не сдохнет, — слюнявил большеголовый старик с бородой до пояса. — Ишь ты, на хозяина руку поднял. Бог-то все видит.

Самострел стонал на нарах. В темной избушке пахло паллениной, савинными парами. Засветили лучину и все были поражены: вся спина Самострела покрылась сплошными пузырями, кожа повыше поясницы сдернулась вместе с одеждой. Он скреб пальцами по доскам нар и хрипло рычал.

— Рубите пихту, — распорядился Скрыдлов.

Хозяин суетился около старика, певуче говорил:

— Экой несуразный человек. Сказано, не обижай ближнего — самого господь не обидит.

Утром Бездря спал около костра вниз лицом, разметая храпом пепел. Рядом валялись еще четверо индюковских половинщиков. Забродин прикрыл Митьку полушубком и подошел к хозяину, балагурившему около котла с недопитой водкой.

— Ну, когда деньги получаем? — зловеще спросил он.

— Деньги? — Индюков открыл рот, пьяно захлопал веками. — Деньги я отдам, когда посмотрю орехи. Может, у вас их нет. Вот делато какие. Деньги — не щепа какая... А может, я так возьму у вас орехи? Кто вы такие? Беззаконные твари...

У Забродина скрипнули зубы, страшно исказилось лицо, а на плече туго натянулась шинель. Хозяин понял опасность и замахал короткими руками:

— В шутку я... Вру... Эх, осердился товарищ. Вот они.

Пачки керенок и царских кредиток выпали из объемистого бумажника лавочника.

— Получайте, ребята.

Забродин размахнулся и ударом в висок повалил раскуражившегося барышника, на которого с остервенением бросился Бездря. В драку вмешался Скрыдлов. Бесчувственного, потерявшего дыхание хозяина отняли.

В избушке стонал Самострел, около которого крутились и лаяли собаки; валялись пачки разбросанных кредиток.

К своему стану шли гуськом по примятой дорожке. Из молодого снега торчали оголившиеся коренья и зеленеющий брусничник.

— Вот тебе и деньги. На чего теперь будем снаряжаться, — сетовал старик. — Неспокойный у тебя, Яша, кулак. Беды теперь не оберешься.

— Сорвался с плеча, — каялся Забродин. — Плохо, что помешали довести дело до конца. Надо бы завалить в ручей поганую тушу.

— Это верно, — поддержал Кирьян. — Ни улик, ни свидетелей. Замело бы снегом.

— А половинщики? — напомнил я.

— Бездря и Ян не пойдут в деревню, Самострел сдохнет, — ответил Забродин. — Все равно надо уходить скорее.

— Да... Уходить, — как эхо отозвался старик.

Около нашей избушки залаяли собаки, бросились нам навстречу. Издали мелькнул костер, осветив силуэты двух коней и человека.

— Вот и хозяин, — обрадовался охотник.

Но около избушки оказался сутулый парень с рябым лицом и светлыми вылезшими из-под шапки волосами.

— Думал, вы заблудились, — улыбаясь, заговорил приезжий простуженным голосом.

— Не сынок ли Савелия? — осведомился старик.

— Он самый. Афанасием зовут.

Парень поправил на опояске нож и подошел к сгорбившимся лошадям, понуро опустившим головы.

— Насилу отыскал тропу к избушке, — говорил он. — Все завалило снегом. Ну, а вы как... управились? Отец меня давно гнал, да с хлебом еще не кончили...

— Тебя никто не останавливал в аймаке? — спросил старик.

— Как... Шляются милиционеры. Этого волосатого, что гостил у учителя, зарестовали и увезли в город. Ко мне подкатывался один. Расспрашивал о вас. Я и сам перепугался. Но мы поедем домой другой дорогой.

Афанасий развязал мешок и начал выкладывать замерзшие булки, мясо, затем достал логушок с самогонкой, булькнул и широко улыбнулся:

— Талая... Поди не хватило у вас хлеба?

— Да, подморили, — хмуро ответил Яшка. — Почем на базаре орехи?

— Сорок рублей дают, — простодушно ответил Афанасий. — Это за раннюю добычу, а за наши можно взять все пятьдесят. Орех, как воск... Отец продал по шестьдесят.

— Значит, деньжонками разжился? — выспрашивал старик. — Теперь не скажешь ли, кому нам запродать свою часть?

— Потребилка берет. С орехом не намаемся.

После завтрака, немного охмелевшие, мы пошли убирать орехи. Афанасий оказался парнем бывалым, ловким. Когда перемерили одним мешком чистые орехи и накрыли сусек желобняком, я спросил молодого хозяина:

— Много новобранцев выловила милиция?

Афоня усмехнулся и пощипал желтый пушок усов.

— Выловить им осталось... Почти все ушли в отряд к грузинам.

— Неужели!! — взревел от неожиданности Яшка. — Где они?

— По тракту действуют. Сколько офицерни туда послали и как в яму. Говорят, скоро город займут красные.

До вечера сыпал редкий сухой снег. Настроив машину около второй кучи, Скрыдлов ушел искать соболей.

— Боюсь, ребятки, что заметет следы, тогда поминай как величали.

— Иди, а мы будем работать всю ночь, — пообещал Забродин.

Афоня крутил барабан за двоих.

— Надо скорее выезжать, — говорил он. — Овса у меня захвачено всего один мешок.

Узнав о нашей встрече с Индюковым, парень долго стоял с открытым ртом, затем сказал:

— Третью кучу дотереть могут двое, которые останутся караулить, а мы втроем выйдем в деревню. Худо будет, если Индюков опередит нас.

Скрыдлов вместо соболей принес несколько белок и привел Яна.

— А что тебе скажет батя? — поинтересовался охотник.

— Пусть болтает... Эти старики за барахлишко удавятся, а я на другой лад думаю жить.

Мы присмотрелись к парню. Афанасий не был похож на своего родителя и горячо сочувствовал повстанческому движению, о котором говорил целый день.

— Ты можешь провести до своей деревни так, чтобы миновать кордон? — обратился к нему Яшка.

— Артельно все можно сделать. Надо расчищать дорогу, а река через день-два станет, тогда можно переехать ее в любом месте.

— Тогда приберем, товарищи, все орехи, как полагается.

— Дельно сказано, — похвалил старик.

Мы уговорились, что с Афоней поедут Забродин и я, а Кирьян, старик и Ян останутся караулить орехи и охотиться.

Забродин рвался в жилые места больше всех. На стане он принялся сжимать оставшиеся в запасе гильзы к кольту, починил сапоги, шинель и начал обрезать винтовку.

Пришел Бездря, с собакой и двумя ружьями за плечами. На ногах козловые пимы, голос хрипатый. Сел на нары и сказал:

— Улетел наш соловей. Теперь будет караулить вас при выезде из тайги.

— А сюда милиция не нагрянет? — спрашивали мы.

— Побоится. Если думаете ехать, то валяйте через Козью падь. До езжалой дороги могу проводить. Да и сами увидите затесы.

— Ну, как Самострел? — поинтересовался Яшка.

— Выживет... Сегодня попросил жрать. Мажу его пихтовым салом.

— Деньги-то хозяин тебе уплатил?

Бездря зажег спичку, отчего стало видно его угрюмо улыбающееся, опухшее лицо.

— Если бы не уплатил, то все . . . . . .[1] пустил бы на пепел. Меня он не тронет, пока орехи не вывезет... Знает, где соленым пахнет. Ну, а потом жди всего хорошего, припомнит отца и сына и нечистого духа. Зятек у него офицер и путается с милицией по деревням. Милостью нашего брата не обидит.

Кирьян слез с нар, нащупал в потемках котел с водой и, когда напился, сказал:

— Придется нам шагать к Енисею вместе.

— Что-нибудь надо придумывать.

...Половину третьей кучи оставили убирать старику и Кирьяну. Им обещали помочь Ян и Бездря. Начались короткие сборы. Скрыдлов сшил нам из кабаржиных шкур унты и шапки. Шинели заменили полушубками. Бездря решил переселиться в нашу избушку. На носилках перенесли Самострела. Он поправлялся слабо, но не издал ни единого стона. Глаза больного давно не закрывались, а лицо из красного превратилось в желтое.

— Конопляного масла достаньте, ребята, — просил он шепотом. — С конопляного враз поднимусь. Да винца бы бутылку.

---

[1] В рукописи неразборчиво *(Ред.)*.

Документы наши не годились. Забродин сложил их вместе и хотел порвать, но я остановил его.

— Ведь вернемся и пойдем тайгой к своим.

— Как удастся... А если и придется, то там и без бумажек примут.

Бездря отдал мне свои лыжи, Забродину сделал голицы охотник. Моряк попробовал скатиться на них с горки, упал и решил:

— На таких я не плаваю. Бери, Афоня, а я побреду пехтурой.

Впереди побежали собаки. По примятому, отвердевшему следу лошади шли быстро. Провожая нас, старик и Кирьян наказывали:

— Катанки везите обязательно.

— Соли, соли не забудьте.

— Газету, — добавлял Ян. — Если попадется скрипка или цитра — десять пудов ореха не пожалею.

Тайга молчала, пребывая в неописуемом покое, как убранная квартира в ожидании гостей. Через дорогу медведь пробрел два следа и, видимо, залег на долгие месяцы сосать лапу. Высвистывали спрятавшиеся в хвое рябчики. С деревьев, когда лошади задевали за них вьюками, падал мягкий снег.

Мороз усиливался. Бездря впереди нас шагал за задней лошадью — соловой поджарой кобылицей — и расспрашивал Афоню:

— Купили, что ли!

— Отец с базара привел. Первый раз под седлом. Три сотни выложил. Бег путявый и всего пять лет. Жеребца должна принести хорошего.

— Богатеете, стало быть. А про мое дело не слыхал! Какие разговоры идут!

— Милиция ждет, — усмехнулся парень. — Дело наше известное.

Бездря погрозил кулаком неведомо кому.

— Вот эту штуку получат. Если ты поедешь обратно, захвати на меня сухарей два мешка.

— Не миновать, — тряхнул рукавицы Афанасий. — Около дому зимой долго не насидишь. Я и сейчас заеду к дяде Прокопию, а оттуда передадут нашим.

С высокого хребта спустились в падь. Бездря остановился. Вправо блеснула полоска просеки. Среди густого леса она напоминала трубу или нору, выбеленную внутри.

— Вот где сворот, — объяснял Митька. — Затесы приведут вас к Харитоновой избушке. В ней переночуете, а оттуда широкая дорога на реку Шую. Чтобы объехать бурят и Смолянку, держите через деревню Пузыреву. Там можете заехать к Ивану Кашину. Мужик с руки нашему брату.

Яшка пожал большую руку Бездри и вспомнил:

— А где эти новобранцы, что жили около вас!

— Подтянулись ближе к деревням. Но когда надо — разыщем.

Мы с Афанасием подвязали лыжи. Бездря вырубил шесты. Лошади неохотно сворачивали с проторенной тропы. Соловая кобылица брыкнула задом, когда Афоня столкнул ее в снег, и угрожающе лязгнула зубами.

— Не обломана еще, — любовно объяснил парень.

Затесы вели под уклон. Лыжи скользили быстро и без привычки трудно было держаться на них. На дороге все еще стоял Бездря, широкий, присадистый и мохнатый. Опустив голову, этот бродяга тосковал о людях, о шумной жизни. Нам он оказался нежданным помощником.

— Как же твой отец говорил, что Митька плохой человек! — обратился я к Афанасию.

Рябое широкое лицо парня исказилось в нехорошей улыбке.

— А отцу кто глянется! — заговорил он, оживляясь. — Наши привыкли жить по-дедовски. Кто на них не похож — хоть в могилу зарывайся. Сколько раз они еще подростком лупили Митьку, а теперь боятся его. Мужик в обиду себя не даст. Что заработает, то и спустит. На имущество начальника у него нет. А ведь давно бы мог богаче всех жить. Сколько каждый год он орехов добывает, белки. Считают за счастье прилучить его в половинщики. Индюков от Бездри и распыхался, торговлю открыл, а до этого с коробкой ходил, по деревням баб обманывал.

Сзади зацепила вьюком за сук лошадь и рвала мешок. Яшка не мог по глубокому снегу опередить ее и ругался. Афанасий вернулся, перевязал веревочкой разорванное место мешка и опять пошел вперед, делая широкие шаги.

— Почему же ты не пошел служить к белым! — спросил я.

— Да как тебе сказать... Был тут у нас политический и выступал на собраниях. Понятно так объяснял, за кого надо держаться мужикам. Конечно, мы и до этого знали, что за капиталы богачей кладут головы солдаты. Ну, а когда появилась офицерня тут, и старики поняли, что зря проиграли красных. Теперь вон порют казаки кого надо и не надо.

— Ну, а если придется воевать, пойдешь!

— Мне теперь одна тропинка. Сынки богатеньких сунулись являться, а их наперво плетками угостили. Из нашей деревни один подох, трое опять убежали и смазали в отряд к грузинам. Дождусь от них вести, и прощай, отец. Винтовку теперь залучил добрую.

Поспевая шагать за Афанасием, я думал, сравнивая его с собой. Где-то и меня ждали престарелые родители, хозяйство. Но не сбылись предсказания, дабы не устояли бытовые крепи, связывающие нас с зыбки, не оправдались надежды родителей, не приняли дети стародедовских заветов. В синих глазах Афони, выгодно украшающих его испорченное лицо, сверкали задором новые мысли. Заманчивые и широкие, как эта беспредельная тайга, желания, незнакомые отцам, влекли нас в неведомое, будто дрогнула земля и отряхнулась от всего ветхого, пыльного. Перебирая в памяти дни колебаний и подъемов, я двигался по готовой лыжне, любуясь в то же время ловкими движениями Афони. Разговоры с парнем благотворно подействовали на меня, будто вернули первые дни беззаботной юности. Мы так увлеклись ими, что не заметили, как перевалили несколько хребтов. Начало темнеть. Афоня остановился и указал на утрамбованный лыжный след.

— Дед Харитон здесь.

— Ну и что из этого?

— Как что! Хорошей рыбой покормит и ночуем в тепле. Теперь недалеко. Закусим немного.

Афанасий достал сухарей и начал хрустеть.

— А на белых тут не напоремся? — спросил Забродин.

— Не должно... Я могу пойти вперед, а вы подвигайтесь помаленьку.

Но до деда Харитона добрались поздним вечером. Животы и ноги у лошадей покрыл куржак. От голоду они рвали ветви и громко перекусывали их. Приветливо сквозь чащебники мелькнул огонек. Афанасий стоял около костра с высоким сгорбленным стариком с длинной белой бородой.

По таежному обычаю дед Харитон помог расседлать коней, прибрал вьюки под небольшой шалаш и молодым голосом заговорил:

— Проходите в избу, грейтесь. Да снег-то отряхните.

Старик зажег лампу-коптилку, принес с улицы вяленого сохатиного мяса, настрогал мерзлой рыбы. На топившейся железной печке ласково заворкотал котел с чаем.

— Когда выезжаешь? — спрашивал старика Афанасий.

— Выезжать хорошо, а не выезжать еще лучше, — вздыхал старик. — Не жизнь там — одно землетрясение... Вся деревня по тайге шляется. Помолиться спокойно не дают: дурью отяжелели люди. Три года в чужих землях гибли и дома резню затеяли. Эх, жадна до крови человеческая душа. Умереть бы хоть, не видя конца мира.

На полке у старика лежали две запыленные книги.

— Читаешь? — спросил я его.

— Только евангелие и псалтырь.

Яшка лихо закрутил ус и посоветовал:

— Ты бы лучше старушку поядреньше привел сюда.

Харитон посмотрел на него тусклыми глазами и усмехнулся:

— Отстарушился, брат, я ноне. Вон туда готовлюсь, — указал на потолок. — Ответ надо отдавать за грехи.

— Были, значит, они!

— Один бог без греха... В каторгу недаром послали. И оттуда убежал. Люди надоели. Нет их — тоскуешь, есть — душу поганят мерзкие дела их. Всем грешил. До заварухи-то этой первую тысячу пятнадцать лет копил, вторую десять. Золотыми десятирублевиками сдал в банку, и ничем не попользовался. Теперь и думать о них забываю. На тот свет ничего не унесешь, пареньки. Все богатство от греха и к — греху.

— Чуть ты не большевик, дед, — усмехнулся Яшка.

Спать легли под ворчливое хлюпание котла на печке. За дверью ссорились сведенные собаки, топтались от мороза лошади, пережевывая овес.

Дед долго рассказывал о своей необычайной жизни. Мы узнали, что он пришел в Сибирь за убийство помещичьего доверенного, изнасиловавшего сестру Харитона, то есть обычную историю каторжников, пустивших свое потомство заселять сибирские дикие пустоты.

Под нарами охотилась за мышами резвая красавица ласка. В клетке, привешенной к потолку, прыгала белка. Громко по-богатырски всхрапывал Афанасий. Мирно шумела за стенами тайга. Мирно звучал молодой голос деда, навевая здоровый сон усталому телу.

Горная река Шуя и зимой не переставала устрашать путников. Среди темнеющих взгорий и отвесных скал она казалась широкой аллеей.

Забродин шел впереди, постукивая колом о тонкий лед; за ним топал ногами и приплясывал Афанасий. Я потихоньку проводил ослабевших лошадей. По реке ветер кружил снежную пыль, больно резало лицо. Лошади заворачивали морды, шли на ощупь, теряя тропку. Повыше нас волнообразно застыл водопад. Отсюда он напоминал неподвижный кружевной занавес с голубой прошвой.

— Гнилая река, — придушенным голосом, робея, говорил Афанасий. — Каждый год кто-нибудь тонет. И еще характер дурной у нее. Стоит лед, а как оттепель, так и пронесет его. В позапрошлом году индюковские половинщики две недели сидели на берегу, а сунулись по молодому льду и двух человек не досчитались.

Забродин дошел до берега и хвастливо сказал:

— Без толку можно все ваши деревни потопить.

Лошади вышли благополучно, хотя в двух местах лед резко треснул и погнулся. Только задняя соловая кобылица проступилась одной ногой и, сделав прыжок, легко выскочила на берег.

— Вот и степь. Надо приготовить стукалку.

Афанасий вытащил из кармана старинный «Смит-виссон» и зарядил его.

— И ты думаешь кого-нибудь убить? — насмешливо спросил Яшка.

— Хоть отпихнусь, если поблизости налетят. Гром у него путявый.

На степи снег лежал тонким слоем, местами его и вовсе унесло ветром. Желтая трава, кое-где чернеющие зароды сена и голые кусты ракитника прибавляли омертвелому полю тоски и уныния. Лошади шли пошатываясь, срывали безжизненные былинки. Яшка смотрел на них, затем на Афанасия.

— Не дойдут... Надо покормить. Сколько еще нам ехать?

— Раньше вечера не доплетемся. Верст тридцать будет до дяди.

— Тогда сворачиваем.

Забродин подвернул переднего коня к зароду и начал отдирать верхний изгнивший пласт сена. Ему помогала бойкая соловая кобылица. Она так ловко работала мордой, что под ногами у нас сразу появилось степное зеленое сено.

Афанасий снял шапку и поскреб в рыжих волосах.

— Ладно ли будет, товарищи, — начал он. — Сено это смолянских мужиков, а народ там злой. Из-за пустяка всей деревней пойдут. По всем видам это сено Индюкова. У него такие большие зароды мечут.

— Тем лучше, — одобрил Забродин. — Накормим коней и спичку подсунем. — Он сел поудобнее спиной к зароду и посмотрел в светло-серые узкие глаза парня. — Не женился еще, Афоня!

У парня вспыхнули лицо и уши.

— Некогда нынче жениться. Видишь, какая будоражь.

— Неужели живого человека под собой не видывал! — зубоскалил Яшка.

— Да ведь как тебе сказать... С девчонками все балуются.

— А к солдатке этой не похаживаешь!

Афоня наивно рассмеялся:

— Сдурел... Она мне тетка по матери.

— Ну и что!

— Грех, поди.

Афанасий достал запасу, начали закусывать. Пока сидели под зародом, Забродин уговорился с Гришей съездить ночью в Дегтеву и попроведать Дашу.

— Складная, — смаковал Яшка. — Чем-то походит на Нинку. Такая в городе развернулась бы широко.

— А ты и растаял, — заметил я. — Здорово, видать, тоскуешь по Нине...

— Это не мешает... Можно до зарезу любить и не постничать.

На короткое время перед закатом выглянуло солнце, затем скрылось и в степи сразу потемнело. Ракитники, одиноко торчавшие то тут, то там, в сумерках можно было принять за разбредшийся скот. Лошади теперь хватали ртами снег, торопились к ночлегу.

В потемках выбрались на проселочную накатанную дорогу. На перекрестке в ложке выскочили неизвестно с какой стороны верховые. Афанасий остановил коней. Подъехали три бурята, попросили табаку.

— Индюкова не видали! — спросил Афоня.

— Поехал в тайгу с зятем и солдатами, — ответил молодой бурят в заячьей шапке. — Вот такой морда. Весь завязанный.

Буряты умчались, а мы стояли, не в состоянии двинуться дальше.

— Что же делать! — с отчаянием вырвалось у меня.

— Если бы кони свежие, может быть, опередили бы их, — рассуждал Афанасий. — Куда на этих поедешь. У Индюкова вон какое зверье. В один день доедут до наших.

— Поезжай на соловой, она выдюжит, — вдруг предложил Яшка. — Пять пудов орехов отдаем.

— Овса нет... До старика Харитона доеду, а дальше распишется, — вздохнул парень.

Доводы Афанасия были неопровержимы. Поиски овса в бурятской степи — дело немыслимое. Яшка ударил о землю кабаржиную шапку и сел на снег.

— Влопались!

— Да, они и мы, — как эхо подтвердил я.

— Мы еще можем в другую тайгу или к дедушке, — успокоил Афанасий. — Хотя и там Бездря догадается, так запутает следы.

Послышался собачий лай, мелькнули в окнах огоньки. Лошади заторопились. Афанасий забрался на передового верхом и сказал:

— Садитесь, а то собачня загрызет.

Долго тянулись задворками, по навозным кучам. Афанасий наугад заехал в дядин огород и пошел в разведку. В степи поднимался ветер, шумели сухие кусты. С гумен летела свежая солома. Лошади нетерпеливо топтались, нюхали мешки, из которых пахло сухарями. Вернулся Афанасий и огорченно заявил:

— Ванькину бабу прорвало. Бабушек полна изба. Не к случаю заехали.

— Кто этот Ванька? — спросил я.

— Мой сродный братишка . Тоже новобранец, шатается в тайге как и я.

Афанасий долго открывал скрипучие, немного примерзшие ворота. Вышел рослый бородач в нагольной шубе и повел коней к амбару. Собаки устроили бой. Из-за низких заборов соседних дворов выглядывали люди. Предостережения наши оказались излишними.

Коней Афанасий пустил к корму. Изба встретила нас страшным стоном роженицы, фыркающим самоваром и бестолковыми спорами старух, которых набралось около пяти. В избе одна комната и куть, огороженная плахами. Туда нас и провели пить чай. Угрюмый мужик — хозяин — не выпускал из зубов трубку и сосредоточенно молчал. Его сухопарая жена кипятила в чугунках воду. Жарко топилась печь, к которой невольно приковывались взгляды, нечеловеческим голосом рычала молодая женщина, почти девочка. Нам видны были ее загорелые худые ноги и распущенные медного цвета волосы, и вместо лица сине-багровый кусок мяса.

— Третьи сутки мается, — говорила старуха. — Опростай ты ее, господи. Перве́ньким мучится, молоденькая. Всего семнадцатый годок пошел. Говорили Ванюшке — не женись, так разве нынешние дети слушают родителев. Вот и выхватил птицу без перьев и животов. В добрую пору под двумя ведрами воды гнется как жердочка. Тошно смотреть, а что будет после дитя!

Потребиловская лавка была уже закрыта, и мы легли спать в кути, трое рядом. От жары и духоты нечем было дышать, разрывали сердце стоны роженицы. Слышно было, как она скрипела зубами, рвала ногтями тело, а старухи твердили:

— Силушки, силушки прибавь.

— Крепись, Настасьюшка... Первые дети всегда болькие.

— Ох, и не говори... Как вспомню своего Илью, аж в глазах темнеет. В хлеве схватило меня, так в подоле и принесла, а потом на всю жизнь боль пристала.

— Мылом бы еще живот потереть, бабоньки.

Дикий крик больной заставлял на время молчать повивалок. Роженица ненадолго успокаивалась, затем снова металась по кровати.

Никаких человеческих сил не хватило бы пролежать до утра. Хотелось избить и выбросить старух за дверь за их болтливость, равнодушно жестокую, за покорность слепой судьбе женщины. Больной мозг изобретал самые свирепые казни повивалкам. У меня чуть не вырвался крик бешенства, когда Яшка соскочил и громко спросил:

— Неужели нельзя достать доктора? Эй, вы, черти седые!

— А чего они помогут, доктора-то? — испуганно пробормотала свекровь. — Да и не поедет еще.

С улицы зашел хозяин и строго сказал:

— Надоели вы мне. Никакого толку, вижу, из вас не выйдет, замучили бабу. Поеду за фельдшеришком.

— И я с тобой, — настоятельно заявил Яшка. — Если он не соизволит прибыть — душу одним разом вышибу.

И мы не уговаривали Забродина бросить эту затею. Слишком непереносны были муки молодой женщины. Ее заставляли молиться, держаться за шею молчаливого свекра, кропили святой водой, бесцеремонно мяли и ослабили до полного безумия.

Афанасий привел замерзшую и подпрыгивающую соловуху, проворно запряг ее в сани. Хозяин принес охапку сена. Я надвигал глубже на уши шапку, чтобы не слышать крика роженицы. Запах избы не проходил на морозе. Обида за деревню сковывала мысли, не хотелось верить, что в таких вот скотских условиях рожают и гибнут родные мне по детству люди, что в такой же обстановке родился сам я. И какую неоплатную жертву принесла для меня мать, получив в награду одни бесконечные страдания и тревоги за нас, за нашу судьбу. Как она плачет теперь, не зная жив я или нет.

В избу идти не хотелось. Забродин сел с хозяином в сани. Под полозьями и копытами хрустел снег. Шорох их наполнил сонную улицу. Звезды показывали перевал за полночь. Где-то ржал жеребенок обиженным слабеющим голосом, тявкнула собака.

— Пойдем хоть на сеновал, — позвал я Афоню.

— Кабы дохи, а так закоченеешь, — отозвался он. — Тут до Дегтевой всего десять верст. В час какой доехали бы. Но там, наверное, ждут архаровцы с кокардами.

Афанасий загрустил. Ранние тревоги, постоянная близкая опасность сделали его серьезнее.

— У меня есть еще один знакомый, попрошусь к нему. Только бы до рассвета досидеть.

Парень легко перемахнул через забор и встревожил соседских собак. Я стоял посредине двора, смотрел на яркие звезды и думал. Непрошеные жуткие картины расправы будоражили воображение. Я пробовал представить себе, как солдаты окружают избушку и расстреливают Кирьяна, охотника, Яна. Трещала и тяжелела голова. В чем-то хотелось упрекнуть, обвинить себя, все наши действия и поступки казались ошибочными. Так, вероятно, каждый человек чувствует себя при неудачах. Но где-то снова гремели оружием наши товарищи, где-то возрастала надежда на приближение развязки.

Шумно распахнулась избяная дверь, из нее серым клубом вылетел пар, пахнувший потом и гнилостью. Выбежала разопревшая свекровь и причитающе заговорила.

— Ребята, товарищи, у вас есть ружья... Выстрелить бы под окном, прямо над головой. Может, бог скорее простит ее.

Безумно я смотрел в безумные глаза сухопарой женщины, а она твердила:

— Всегда делают так.. Грянет ружье, испугается бедная и распростается. Сделай милость. За заряд Прохор заплатит. Языка уж лишилась бабочка. Посинела как упокойница. Два зуба выломила.

Омерзительный ужас перед лицом столь мучительной смерти заставил трепетать все мое тело. Оттолкнув старуху, я бросился в избу. Роженица лежала на кровати, раскинув руки и ноги, лицо у нее было накрыто белым платком. Вокруг стояли растерявшиеся старухи, с намыленными руками, напоминая сказочных ведьм.

— Силушки, силушки, Настенька, — шамкали раздражающие ворчливые голоса. Они наполняли сердце смертельным ядом. Я схватил винтовку, выбежал на улицу. Сквозь замерзшее окно был слышен скрип кровати, возня и непереносимые всхлипы умирающей.

Я поднял кверху винтовку, выстрелил два раза и, бессильный, надломленный, пошел на улицу. К воротам подъехала подвода. Из саней выскочил Яшка и высокий пожилой фельдшер. В темноте промелькнуло сухое остроносое лицо и ворчливый голос произнес:

— Безобразие... Когда человек умирает, тогда гонят к нам... в глухую полночь. Только что вернулся из Дегтевой. Эх, черти чумазые...

Хозяин привязывал лошадь. Мы прошли за фельдшером в избу. Около двери Забродин проворчал:

— Сроду не видел таких чунарей. Недаром кто-то умный сказал, про деревенское идиотство. Удавиться легче, чем смотреть на эту бабочку.

Старухи расступились. В избе мигала лампешка. Кто-то опрокинул ведро с водой, кого-то облили. Роженица лежала неподвижно вниз лицом. Волосы ее спускались с кровати почти до пола. Это были густые. отсвечивающие и мягкие волосы. Свекровь со злым одеревенелым лицом сидела в кути и тупо смотрела в угасающую печь. Старухи, сложив руки на груди, стояли как приговоренные к смерти.

— Что с ней! — сердито спросил фельдшер.

— Кажется, надо гробик и крест делать, — ответила повивалка с подслеповатыми глазами.

— Замучили, значит.

Фельдшер осмотрел, выслушал роженицу. Густые его брови плотно сошлись.

— Конечно... К мертвой привезли. Под суд бы за такие вещи. Но разве всех засудишь... Эх, дела житейские. Сразу — ребенок и мать... Может, и к лучшему. Искалечился народ.

— Знамо, к лучшему, — вздохнула подслеповатая. — Муж где-то летает, как оторванный лист. Чего уж там — ни солдатка, ни вдова, ни замужняя жена.

—Так бог велел, — вторила другая сухопарая с белыми волосами. — Кому что предписано, того не минуешь.

Фельдшер взял записную книжку, но ни у кого не оказалось карандаша, чернил в доме тоже не было. Медицинское лицо постояло, подумало и, махнув рукой, направилось отдыхать.

Старухи и хозяева еще долго подыскивали оправдания случившемуся. В конце концов получалось, что молодуху зря спасали.

Покойницу начали обмывать. Отогревшись, мы снова вышли во двор. Пришел Афанасий и увел нас к своему знакомому. Хозяева новой квартиры оказались людьми малоразговорчивыми. Полная белолицая, еще молодая женщина, подозрительно осмотрела нас и поставила около порога скамью. В квартире чисто, есть некоторый уют. На окнах цветы, пол устлан самодельными половиками.

Чернобородый, довольно свежий хозяин плел из тонких ремней вожжи. В горнице слышались ломкие спросонья девичьи голоса.

Когда хозяева вышли на двор, Яшка спросил:

— Что они, принимают нас за воров!

— На то похоже, — усмехнулся Афанасий. — Богачи...Сынок юнкером был. Ухлопали его в декабрьские бои, вот и поносят красную власть. Небольшая родня моей матери, а век бы с ней не видался.

Чаем нас поить не собирались. Из горницы вышли две полные румяные девушки, очень похожие на мать, и, не поздоровавшись с нами, начали есть вареный картофель с маслом, затем семья стала заниматься утренней уборкой, не обращая на гостей внимания.

Мы пошли в потребительскую лавку. Темное туманное утро. На длинной косой улице натеряна солома и клочья сена, из сугроба под окном одной избы торчит голова дохлого поросенка. Около не открытой еще потребиловки собралась кучка сельчан. Мы остановились и начали прислушиваться к разговорам. К Афанасию подошел сутулый плечистый парень и тихонько спросил:

— Дегтевский, кажись!

— Оттудова... Здорово!

— Чего это ваши в тайге наделали!

— Ничего не знаю, — притворно удивился Афанасий.

— Как!.. И индюковского зятя и солдат порешили на Селивановском стане... Бездря, говорят, там похлопал людей и сам ушел по тайге к грузинам.

— Это всего вернее, — тряхнул головой подслушавший разговор старик. — Сказывают, к тем много идут.

— Кто вам говорил? — вмешался в разговор Яшка.

— Все деревни знают, — пояснил сутулый парень, натягивая до локтя медвежью рукавицу. — В Смолянку и Дегтеву солдатни и казаков из города пригнали.

Новые сведения ошеломляюще подействовали на нас. Первою мыслью у всех было: «Ехать скорее, но куда?».

Приказчик внимательно рассмотрел орехи, назначил цену и сказал:

— Деньги могу уплатить только через три дня.

— Но у нас нет хлеба и табаку, — обозлился Яшка. — Давай хоть задаток и товару.

Приказчик сходил в контору и нам отпустили пару полушубков, шапки-ушанки и по две пары белья. Денег дали только две сотни рублей, на которые можно было прожить не больше десяти дней.

Проходя мимо избы Афанасьева дяди, мы увидели около амбара большой белый крест. Два мужика на верстачке строгали рубанком плахи, а около них толпились бабы и ребятишки. Яшка опустил глаза, ядовито улыбнулся:

— Силушки, Настенька... Ух! Наверное, половина баб дохнет в деревне от родов. Культурность! Как под ней земля не проваливается. — Затем поднял голову, взбросил на Афанасия глазами. — Где живет этот загнутый верзила?

— Вон в той избе.

— Пойдем к нему чай пить. Он, видать, наш.

— Это верно. — Афанасий уронил шапку и наклонился поднимать ее. Разогнулся и продолжал: — Я вот о чем хотел поговорить. Как мы теперь? Куда направимся? В нашу деревню и ночью ехать опасно. Слыхали, что болтают мужики?

— А где действуют грузины? — спросил я.

— Это надо пробираться на север, за линию железной дороги...

— Наймем коней и ночью уедем, — сказал я, посмотрев в лицо Яшки.

Забродин вздернул носом, пнул ногой замерзший ком. Видно было, что он с моим решением не соглашался, имея какие-то другие.

У долговязого парня брат оказался красногвардейцем. Поставив на стол две бутылки самогонки , он рассказал о настроениях в деревне, о том, что недавно был в городе.

— Прижали там рабочий люд — крепче некуда, — полушепотом говорил он. — В депо стоит милиция, на железной дороге озорничают казаки. Сам видел повешенных людей около вокзала. Идут это поезда, а из них смотрят на такое изгальство. За линией стреляют каждую ночь, как собак бросают в сугробы. Тюрьмы битком. А в газетах пишут, что власть в Омске перешла какому-то морскому генералу. Порют по деревням за подати, аж пыль летит. Староста ждет завтра их сюда, — закончил рассказчик и взглянул на полати, где в темноте кряхтела старуха. Бойкая голубоглазая девочка, не желая пропустить ни одного слова, ставила в глиняных чашках на непокрытый стол огурцы, грузди, капусту и паренки из брюквы. Оглянув угощенье, Забродин улыбнулся:

— Живешь ты, кажется, на коровьих харчах.

— Извиняюсь, — покраснел парень. — Резать у нас некого. В работниках с братом жили.

— Все это нам с руки... Ты вот что, не найдешь нам до станции хорошую подводу... Заплатим щедро...

— Сколько угодно...Мужики знают вас, разве одного Степу Кузнецова надо опасаться. Это у которого вы перед утром были. Как он вас не забарабал...

Афанасий допил из стакана самогонку и сделал свирепые глаза.

— При мне не тронет, а то стукну, что у него две винтовки спрятаны. Или сам порешу.

Ночью подъехали сани, запряженные парой низкорослых коренастых лошаденок. Показалось, что одна из них прихрамывала. Под животами у обеих опушилась инеем длинная шерсть — признак худобы. Лошаденки вздрагивали. Около них топтался мужик в побелевшей бороде, наказывал сутулому парню:

— Ты Артюха, снорови. Под гору можно и бича дать, а на гору шажком валяйте. Ребята молодые, немного и пробегут. Греться все равно будете. А кони горячие, на десяти верстах могут отдать все потроха.

Пока Артюха и хозяин лошадей выравнивали у пристяжной постромки, ко двору собралось с десяток мужиков. Они относились к нам сочувственно, наперебой советовали:

— Валяйте через индюковскую мельницу.

— Да... Надежнее будет. Там дорога лесная.

— Не напоритесь на казачишек.

Голубоглазая сестренка Артемия вынесла узелок с провизией. Прибежал Афанасий и, громко дыша, сказал:

— Ну, стало быть, я с вами. Дядя отведет в Дегтеву коней. Отцу тоже наказал, чтобы дополучил за орехи.

У парня из-за пазухи торчало горлышко бутылки с самогонкой, лицо расплылось, язык заплетался. Хватил он с горя, нелегко в который раз отрываться от родных.

— Дорогой погреемся, — усмехнулся он.

Сельчане приподняли шапки. Лошади рванули сани. По мутному небу замелькали золотыми глазами лучистые звезды. Две собаки проводили тарахтящую подводу за деревню, в которую с другого конца входил казачий разъезд. Но об этом мы узнали на сутки позднее.

И опять прихотью случая гнало нас в глухую темную ночь неведомо к какому пристанищу, на какие испытания. От ног лошадей летел в сани снег, ветром резуче охватывало лицо. Призрачно мелькали по сторонам дороги еловые ветки. В мыслях мелькали обрывки всяческих воспоминаний, с отчетливой ясностью вставали давно забытые, случайно встреченные предметы, лица людей, память перебирала родню, друзей детства и битв. Слишком много их накопилось у нас, от груза впечатлений начинало черстветь сердце, тупела память.

И все-таки из всех образов ярче других осветил образ Саши. Закрыв глаза, прижавшись к теплому боку Яшки, я мысленно ласкал ее и думал, что не с другим, а со мной ее сердце в эти страшные бродяжнические дни. Но проходили минуты, и рядом с ней появлялась фигура Сергея Лузина, непреклонная, уверенная, дышащая какой-то внутренней силой. Где-то он теперь! Где Саша!

Забродин толкнул меня локтем.

— Уснул!

— Нет.

Сани ударило в ухабе, треснула отводина и забороздила по снегу, отвратительно действуя на нервы.

— Я все думаю: куда же мы едем.

— Конечно, в отряд к грузинам, а оттуда попробуем пробраться на Енисей, для связи.

— А я имею другую резолюцию.

— Какую!

— Надо пробираться в Иркутск... Свяжемся с подпольным комитетом, поступим работать на железную дорогу или еще куда-нибудь... В эти отряды я мало верю. Расплюснут их, как лепешку. Вот когда города поднимутся, тогда и отряды эти годятся на прикуску.

— В городе потребуются паспорта.

— Этого добра найдем.

— Но ты забываешь, что там зажали рабочих донельзя, а здесь все-таки можно сколачивать силы. Всякий маленький отряд не дает спокойно спать белогвардейцам, а это облегчает положение наших на Уральском фронте. Уж лучше воевать, чем сидеть в тюрьме или быть запоротым плетьми.

— Не допускаю, чтобы насовсем убили рабочий дух.

Забродин задумался. В верном выборе пути и он колебался. Рядом с нами сидели два здоровых парня, готовых разделить предстоящие боевые трудности и смерть. Я втайне гордился ими перед Яшкой. Это снимало с родной мне деревни вековечные пороки, вроде волчьей жадности мужика, тупоумия твердокаменного индивидуализма, беспросветной темноты, лукавства и прочих грехов. Артемию терять было нечего, но Афанасий, сильный, работящий и безусловно способный парень, терял многое, у него было среднее хозяйство и впереди дорога к зажиточности. Но парень не поминал о домашности, не особенно грустил, что едет неизвестно куда. У него нет книжных убеждений, но он чувствует, что правду деревне несут большевики и во имя этой смутно представляемой правды он готов пожертвовать не только отцовским наследным имуществом, но и молодостью, свежей, как весенние зеленые побеги.

Получилось странное перемещение вещей. Дети отцов, равнодушно и злорадно встретивших гибель первой Советской власти в Сибири, забунтовали против белой власти, против власти правых социалистов, против партии, называвшей себя крестьянской. Мужики, отнимавшие у отступавших красногвардейцев винтовки, теперь шли в повстанческие отряды, не дожидаясь даже восстаний городских рабочих.

Это опровергало представление Забродина о деревне, радовало меня. События показывали неожиданные стороны духа русского мужика, раскрывали его потенцию, непредвиденную теоретиками меньшевизма.

И я сказал Забродину:

— Ты вот не читал речь Ленина о крестьянстве. А он говорит, что без союза с ним социальная революция может и не осуществиться. Кое-где крестьяне могут воевать за нее не хуже рабочих...

— Это говорят соглашатели, не вали на Ленина разбитые черепки.

— Вот тебе раз! Путался с анархистами и не удосужился прочитать даже программы большевиков.

— Об этом и мы слыхали, — подтвердил Афанасий. — У меня на божничке газета лежит. Там все сказано, чего добиваются большевики.

Яшка фыркнул. Суждения парня обидели и рассмешили его. И было действительно смешно, что этот неотесанный парень, выросший в тайге, убеждает прожженного вояку. У Яшки заговорила гордость, он отвернулся и начал закуривать. Затем, выпуская дым, похвалился:

— Только не достать теперь газет, а то натыкал бы вам морду и доказал.

Артюха остановил коней, через санные головки выскочил на дорогу. Вправо мелькнули огни, темнели очертания построек.

— Дегтева, — вздохнул Афанасий. — Если бы знать, что нет казаков, заехали бы к батьке чай пить и там сговорились о вашей половине. Вон у Дарьюшки огонь в избе.

— У Дарьюшки. — Забродин пошатнулся, попав ногой в ямку, и поднес к глазам ладонь. — А ну, попробовать разведать...

— Не выдумывай, — заспорил я. — Надо за ночь добраться до надежного места.

— Места для нас все равны... Отстегивай, Артюха, пристяжку и понюхай, а мы подождем здесь. Прямо к Даше и скажи, что от Кирки.

— Тогда лучше подъедем к гумнам, — начал сдаваться Афанасий. — Оттуда я сбегаю по заднему двору.

После этих слов всех неудержимо потянуло к теплу, горячему чаю.

— Ну, как? — обратился ко мне Яшка.

— Все равно, только бы не влететь.

Приготовили винтовки. Лошади нехотя свернули с торной дороги.

Огни в Дегтевке гасли. Зловеще и загадочно висла над деревней полночь. Правил Афанасий. Лошади вязли в сугробах, прыгали как спутанные, сани два раза становило на ребро. Я уже принимался клясть удаль и бесшабашные прихоти Яшки Забродина, когда подвода остановилась около редкого бревенчатого забора. Знакомое устройство гумна успокоило меня и ребят; над током крыша, рига и высокий зарод соломы в гуменнике. Где-то свиньи. Все спокойно, нерушимо. Афанасий, колеся кривыми, как у отца, ногами, пошел вдоль забора, тень его вырастала и уменьшалась, затем исчезла в темноте, умолкли и шорохи.

— Не покормить ли коней! — сказал я Артемию.

— Если бы овсяная солома, а ржаную жрать не будут. — Ямщик перелез через забор, скрылся и вскоре вернулся. В поле у него было невеяное зерно.

— Ворох ячменя на току, — объяснил он. — Не приплелся бы хозяин...

— Берем на свою ответственность, — успокоил парня Яшка. — Не жалей барахла, когда жизни не жалеешь.

Афанасий вернулся бесшумно и сообщил:

— Казаки уехали в Смолянку. Вернутся или нет — никто сказать не может. А Дарьюшка рада. Картошку с салом жарит. Думайте сами.

— Некогда раздумывать, поехали, — за всех решил Яшка.

— Нет, коней лучше здесь оставить, — возразил я. — Пусть Артюха их покараулит, а мы принесем ему закусить.

Афанасий согласился. Сразу за гумном торчал тын — начинались огороды. Даже собаки не лаяли. Все подкупало спокойствием. Но покоя в сердце не было. Настороженное ухо ежесекундно ждало шорохов, выстрелов, криков. Шли темным переулком, где-то за заборами в глухих дворах ворчали собаки, — им лень было подняться из тепла закута и залаять. Мороз креп с каждой минутой, холодный его укус жгуче пронизывал тело, плохо грели малошерстные полушубки и валенки.

Через улицу перешли поодиночке. Разрумянившаяся около печи Даша окинула всех взглядом и уныло опустила голубые глаза.

— Обманул, Афоня! — с печалинкой улыбнулась она.

— Остался в тайге, — сказал Яшка. — Теперь, наверное, колесит где-нибудь по хребтам. — И, положив руку на плечо, заглянул в лицо. — Ошиблась ты, Дарья, в выборе.

— Улетел орел — не поймаешь, — вздохнула солдатка. — Такая видно доля.

Яшка подкрутил ус, крякнул:

— Разве остаться у тебя, да пахать не умею...

— Останетесь вы. — У Даши влажными стали глаза. Гуще зарделись щеки. Нерастраченная силища будто била в ее высокой груди. Чистенькая тоскующая постель с пышными подушками притягивала наши взгляды, взгляды обреченных на скитания, на жгучую тоску по ласке. Мы были молоды, как молоды и не растрачены были наши желания.

Яшка потер красные руки и обнял Дашины круглые плечи.

— Поставь, любушка, самоварчик, — сказал он.

— Поставлю кое-что погорячее. — Даша заторопилась, не умолкая говорила: — В тот раз заметила, что хорошие вы ребята, настоящие. И теперь жалко провожать, как родных все равно. А то пожили бы. Спрячем где-нибудь! Куда понесете головушки!

— Земля широка, —умильно посматривал на солдатку Яшка.

— Кому широка, кому — уже гроба. Садитесь-ка ужинать.

Даша слазила в подполье и вытащила четверть самогонки, настоенную на черемуховых ягодах. Сбегала за Савелием Ефремовичем и его старухой. Старик, увидя сына и нас, всплакнул, жалко заморгал, а, выпив два чайных стакана, раскошелился. Вытащил из кисета пятьсот бумажками и положил передо мной.

— Вот вам на дорогу. Делите как знаете. Все на одно страдание идете. Небось, Афончу не обидите.

Выпила и расчувствовалась Даша.

— Загоняю я эту избу с потрохами и уеду в город. Сил нет, милые ребята. Кто ногтя твоего не стоит и тот пристает с просмешками. Да неужто моя долюшка в море брошена! Здоровье как у медведицы, а за какие тяжкие сохнет моя кровь. До каких пор-времени ждать Данилу. Может быть, и косточек его не осталось.

Я заторопил компанию. Савелий Ефремович поддержал:

— Ступайте, ступайте с богом, дети. Гляди, гляди занесет этих желтопогонных.

Афанасий неловко заулыбался, когда мать, роняя крупные слезы, начала крестить его.

Я посоветовался с Яшкой и сунул под тарелку три керенки по сорок рублей. А когда оделись, Забродин сказал:

— Эх, хозяюшка, не встретились мы в доброе время. Поцеловала бы хоть на прощание.

— Всех поцелую.

Румяная, налитая силой Даша вышла на средину комнаты и без стыдливости подставила Яшке полные губы. Глаза ее закатились, дрожали ресницы, все тело застыло в сладкой истоме и будто говорило: «Вот я какая. Век не забудете. Но зря износится моя жизнь, остынет кровь, высохнут могучие груди. Спасайте, если вам жалко моей красоты. А каких ребят народила бы я!»

От Даши пахло ригой и парным молоком. Она поцеловала всех до трех раз и вышла проводить в одной кофте и юбке за ворота, не боясь простуды.

— Где же Кирьюшка-то, не сказали! — шепнула мне, жарко дыша. — Если увидите — передайте, что потомство у него осталось в Дегтевой. — И спрятав лицо в ладони, побежала к избе. Даша не роптала, не обвиняла Кирьяна. В голосе у нее прозвучала гордость матери, теплое воспоминание о ласках Кирьяна, надежда на появление будущего человека, ради которого стоит жить.

Напоминание о Кирьяне было тягостно и нам. Где они теперь! Шагают по тайге, греются в избушках или лежат под толстым слоем снега окоченевшими трупами!

Афанасий и Артюха рассчитали, что до полустанка, где можно накормить лошадей, мы приедем к рассвету. Оттуда и нужно будет разузнать о местопребывании отряда Абодаяни. Выезжая из Дегтевой, мы окончательно согласились, что в город пробираться и рискованно и бесполезно, по крайней мере, теперь, когда даже в деревни брошены сильные карательные отряды и носились смутные слухи, что власть эсеров пала, убит министр Новоселов офицерской шайкой, что верховным правителем России провозгласил себя адмирал Колчак. Обо всем этом как-то путано рассказывали Артюха и Савелий Ефремович.

Забродин поднял воротник и сказал:

— Колчака я видывал. Адмирал мировой. Золотым оружием от американцев владел и бросил его в море. Теперь пиши, что срежет головы не только большевикам-соглашателям. Флотский, это само за себя говорит. Может притиснуть Москву к ногтю и сесть на трон.

— Скорее поднимет против себя всех рабочих и мужиков, — возразил я. — Теперь дурак поймет, что эсеровское народовластие — одна болтовня. Посмотрю, как потянутся к власти помещики и фабриканты.

— Пожалуй, верно, — зевнул Яшка. — Нагайка и горячие шомпола должны разогреть народную кровь. —Свернулся в клубок и добавил: — Спите, ребятушки, а потом расскажете хорошие сны.

Дул холодный ветер, забираясь за ворот, под шапку и за голенища валенок. За санями клубилась снежная пыль. Подрезы полозьев раздражающе скрипели. Быстрыми шагами надвигались сибирские морозы. Со всей четкостью припоминались декабрьские бои, кошмарные дни, проведенные в губернаторском дворце. Приближалась знаменательная годовщина наших побед. Кто и где будет встречать ее! Из нашей «головки» одни давно покоились в земле, другие скитались подобно нам в лесах, третьих истязали в тюрьмах чешские коменданты и русские белогвардейцы во имя «народовластия». А вот теперь смято, затоптано в грязь и это народовластие, по-прежнему неспокоен мир. В рабочих подпольях, в дремучей тайге, в подвалах и тюрьмах растет неостывшая ненависть, собирается сила против новых правителей Сибири. Значит, наше дело не пропащее.

Так думал я, глядя на проясняющееся небо. На нем меркли последние звезды, быстро уходили на восток клочья облаков.

— Тррр! — ямщик толкнул меня локтями в спину. Лошади остановились. Парень поднялся на ноги.

— Чего ты! — сонно замигал Афанасий.

— Мне почудилось, что в деревню заехали верховые. Вон с того конца.

Мы вышли из саней. Лошади стояли на высоком мысу. Здесь кончался густой березовый лес. Впереди по лощине тянулся железнодорожный поселок. Дым из труб поднимался серыми столбами. Напротив помещения станции чернел паровоз.

— Чехов здесь не должно быть, — выколачивая зубами, говорил Афанасий. — Разве наехали казаки, и то не должно. У отца вчера был отсюдова человек...

— А объехать этот поселок нельзя? — спросил я.

Артюха посмотрел на отощавших и еще больше скрючившихся коней. Они стояли как омертвелые и не имели ни малейшего желания ступить вперед хотя бы на шаг. Спины, бока и ноги коней белели.

— Сами видите, — искренним тоном сказал парень. — Вез на совесть. Надо на особой записать, что сорок верст проехали на таких баранчуках.

В поселке было тихо, и Яшка махнул рукой:

— Вали, какая выйдет.

Афанасий подпрыгивал, у нас не было мочи больше переносить стужу. Артюха тронул лошадей. Они сначала сбивчиво оглянулись, затем нехотя сдернули пристывшие сани и потрусили под гору.

— Если бы подреза салом смазать, да нет его, — пожалел Афанасий.

Ему никто не ответил. Сколько предметов, вызывающих одно и то же чувство, промелкнуло, пока мы ехали последнюю версту. Вон выскочил на средину жеребенок — лончак. Поднял голову, хвост, шею сделал колесом и понесся вдоль поселка, часто взлягивая. Беспечность жеребенка свидетельствовала о мирной жизни деревеньки. И в то же время необычайно много людей толпилось на вокзале полустанка. Мрак утра мешал рассмотреть, штатские это были или военные, но от этого не уменьшались наши подозрения и тревоги.

Дорога шла под уклон, как в яму. Если бы мы и хотели вернуться, то сделать этого уже не было возможности, наши уставшие лошаденки не смогли бы взять горы. Нужно было ехать скорее. По молчаливому согласию всех Артюха начал концами вожжей настегивать едва плетущуюся пару. Снежный бус застилал глаза, скрывал от нас поселок. Мы стояли на коленях, держась друг за друга и за винтовки.

Вот и первая изба на конце улицы. Сани стукаются о плетень, с Афанасия слетает шапка. Поднимая ее, он остановился, посмотрел в щель, и лицо парня из красного сделалось бумажно белым.

— Оседланные кони, — шепнул он. — Гони!

Афанасий выхватил у ямщика вожжи, ударил по коням. Отдавая последние силы, они проскакали до половины поселка. Афанасий круто повернул в открытые ворота. Из дома казенного образца выскочил коренастый человек в ватной телогрейке и стеганых шароварах. Узнав Афанасия, он испугался и крикнул:

— Ты зачем? Ах, чудак. Здесь казаков и чехов полно. — Винтовки совсем изумили нашего хозяина.

— Прячьте, прячьте! — замахал он руками. — И, схватив оружие, побежал в дровяник. Сделал это он вовремя. На конце улицы, с которого мы въезжали, уже скрипел снег под конскими копытами, там кричали. Командирский голос отчетливо посыпал матерщиной.

Выглянув из-за угла избы, я видел несущихся за нами всадников, оглянул задворки — бежать некуда. Мы поспешили в избу. В сенях Яшка засунул под валявшееся корыто кольт и с раздражением шепнул.

— Влипли, глупее не придумаешь.

Все пережито померкло перед предстоящим.

— Может быть, не нужно бросать оружия! — обратился я к Забродину.

— Какое вам! — закричал хозяин. — Говорите, что таежники из деревни Емельяновой. — Зачем влетели ко мне! Хоть бы чужую голову пожалели. Молчите, может, чехи выручат.

В избе полумрак, в кровати и на полу зашевелились ребятишки, запищали, чуя беду. Каждого пронимала дрожь. Вихрем кружились мысли, ища выхода, но его не было. Бледная худая женщина стояла около печи, что-то шевелила безжизненными губами и укорчиво смотрела на Афанасия. Муж ее два раза выбегал на улицу, затем, когда конники промчались по улице, он надел рукавицы и сказал:

— Ищут... Побегу на работу... А вы упирайтесь... Ничего, мол, не знаем... Из тайги — и все.

Но он не успел дойти до ворот. Казаки быстро завернули, увидев нашу подводу, и перемахнули через низкий забор.

«Вот где смерть настигла»,—подумал я, чувствуя как немеют и подгибаются ноги. Но слова хозяина заронили какую-то надежду. Мозг уже придумывал разные варианты ответов на возможные вопросы, имя, местожительство.

В клубах холодного тумана вошли забайкальские казаки. Их серые папахи, усы и губы запудрены инеем, в руках плети. На дворе шумели остальные, топтались по скрипучему снегу, разгоряченные кони. Похолодела кровь, но мы с независимым видом встретили испытующие взгляды.

— Что за народ! — оглянул всех узкими глазами широкоротый высокий урядник.

— Таежники, едут в Емельянову, —заторопился хозяин. — Ребята заехали погреться и сейчас уедут.

— Чьи будете из Емельяновой!

— Мы вот братья Бродилины, а эти...

Казак перебил Афанасия громким сиплым смехом, затем поднял плеть и сверкнул горячими глазами:

— Не заливай, сволочь! Побрешу вот я тебя по башке! Кому врешь, когда я сам оттуда.

Я сел на лавку, сжимая зубы до боли в деснах. Всего, чего угодно, но истязаний, надвигающихся, как кошмар, мысленно никогда не допускали ни я, ни Забродин. Каждый из нас предпочитал погибнуть от собственной руки. Где-то в сумках у нас даже запасен был порошок цианистого калия.

И вот случай поставил нас в негаданное положение.

Казаки закурили. Урядник перевел глаза с Забродина на меня.

— Как зовут?

— Архип.

— А тебя?

— Федор.

— То-то — охрип. Похожи вы друг на друга, как карась на березу... Фамилие?

— Жеребцовы, — поспешил ответить Яшка.

— Го-го-го! — рассмеялись казаки.

— Фамилия приемлемая, — сказал урядник. — Покажите документину.

— Какие документы? — сделал измученные глаза Яшка. — Мы сроду их в тайгу не берем. А насчет Емельяновой вы зря, господа казаки, смеетесь. Мы пильщики и переходим из деревни в деревню. Дошли до Емельяновой, а оттуда в тайгу надумали...

— Врешь, тварь, — прищурил глаза урядник. — По роже видно, что красные бродяги вы вот с этим. Айдате-ко в штаб.

— Дайте хоть отогреться, господин хорунжий, — притворялся Яшка. — Сто верст проехали. Не может же власть справедливая измываться над трудовым народом.

Хозяин, смекнув, к чему ведет дело Яшка, засуетился, оживилась его жена. На столе появились огурцы и капуста. Один из казаков подмигнул мне:

— У вас погреться, поди, найдется?

— Есть, есть, — бегал по избе хозяин. — Для добрых людей достать всегда можно. Анисья, сбегай-ка. — Казаки закручивали усы, все еще недоверчиво улыбались.

— Можно орехами угостить? — предложил я.

— Тащи, — охотно согласился урядник.

Все клонилось к благоприятному исходу. Все пришли в движение. Афанасий развязывал кошели — мать наложила туда куски жареной баранины, пшеничных булочек-подорожников, белья. Яшка угощал казаков хорошей махоркой. Перепуганные ребята — девочка и мальчик полезли на печь. Пришла хозяйка и поставила на стол две бутылки самогонки.

Казаки начали подвигаться к столу. Но шум во дворе отвлек их внимание. Резко застонала накаленная морозом дверь, и на пороге, вытаращив дикие глаза, появился Индюков. Он, загадочно улыбаясь, снял бобровую шапку, по фасону похожую на шапки бояр, широко перекрестился и подошел к Яшке.

— Здорово, крестный! То-то я не ошибся. В окно заприметил друга. Вот и расчетец получишь. На расчет мы не скупые. За зятька, за орехи, за баню таежную, за все расплатимся, товаришки.

Купец проворно выхватил из кармана борчатки браунинг, сжал зубы и рукояткой ударил в щеку Забродина.

— Красные, подлецы! — завизжал он. — Господа казаки, что же вы смотрите? — Курносое лицо Индюкова посинело, исказилось в гневе.

На полатях истошно закричали ребятишки. Взмахом плети казачий урядник снес на пол висячую лампу. Удар пришелся мне по голове, наполнив ее страшным шумом, из глаз фонтанами брызнули искры. В избу с криком ворвались какие-то люди. После второго удара прикладом винтовки в висок я повалился. В памяти удержались только шевелящиеся усы урядника и синее, как у покойника, лицо Индюкова. Изба с окнами провалилась в бездну.

Протяжно и сердито заревела корова. Затем застрекотали птичьи голоса. Они носились в воздухе со всех сторон, назойливо кружились над головой. Чем-то острым царапали по железному листу. Нервы не выдерживали этого противного визга, смешанного шума, грохота. Качало, подбрасывая то ноги, то голову, от чего кололо все тело.

В следующее мгновение я уже различал, что не корова, а паровоз, маневрируя где-то близко, подавал свистки, визжали по снегу подрезы саней, а птичий гам — просто говор людей. Затем все смолкло. Я попробовал открыть глаза, но веки не повиновались, и тут же понял, что голова стянута какой-то грубой повязкой, руки налиты тяжестью.

Меня куда-то везли.

Казалась нескончаемой эта езда, но уже не колотило, не кололо гвоздями тело. Что-то со мной делали. Сначала легче одной ноге, затем освободилась вторая. Куда-то потянулась рука. Чье-то теплое дыхание на лице и боль от него.

Так приходило сознание. Поили чем-то горячим, и от этого, казалось, резало в груди. Заплывшими глазами я не мог ничего разглядеть, понял, что около были женщины. Я уснул. Сон принес чудеснейшие видения. Я бродил по широким полям, не бродил, а летел по воздуху. Громадные полосы густой колосистой пшеницы лежали на неоглядной равнине. В низинках пшеница прилегла к земле, солома ее около корней еще зеленела, несмотря на то, что колос поспевал.

Над полем скоплялись тучи. В такое время они чаще всего являлись предвестницами длительного ненастья, после чего — внезапного губительного мороза.

Я остановился на опушке березовой гривы. Отсюда — с возвышенности—виднелась наша полевая избушка, от нее начинался темный ельник. От яркого солнца некоторые ели стали прозрачными, необыкновенно зелеными, светящимися насквозь.

Пшеница росла даже вокруг избушки. Колосья ее причудливо тянулись к двум маленьким оконцам. Там звенела песня молодежи, простая, мощная и трогательная, как это поле и еще зеленеющие леса. С корзинкой бело-желтых груздей ко мне подошла Саша и села рядом. В переднике, заткнутом углами за пояс, у нее ярко краснела костяника. Опаленные солнцем волосы и ресницы девушки совсем побелели, только около корней сохраняли прежний цвет, на покрасневших шее и лице лежал густой здоровый загар, светилась кожа.

— Вот мы и вместе, — просто и задушевно шепнула она. — Теперь я буду постоянно с тобой, только с тобой. — Девушка первая обняла меня, припала головой к груди. И мы долго смотрели на волнующиеся нивы, на запоздалые цветы по межам, а над головами нежно шелестели зрелые листья берез, из травы выпархивали мелкие птахи. Сыто, покойно и горделиво дышала земля невиданным обилием. Губы Саши были горячи и пахли шалфеем и клубникой.

«Не было войны, не было крови и слез». Но это шепчет не Саша, а кто-то другой, кажется, молодая сосенка, что стоит в двух шагах от нас, это шепчут колосья, кивая головками. «Мы — дети и только начинаем жить полно и счастливо. В мире есть большие радости и первая из них любовь. Людям скоро надоест вражда, тоска по любви сжигает сердца. От зла стонет земля, и оно скоро исчезнет...»

Тяжелый стук и сотрясение кровати безжалостно отпугнули сновидения. Припухшие веки раскрылись лениво. Около моей койки толпились люди в белых халатах. Они что-то поднимали, кто-то тихо плакал. Над потолком уныло качалась крошечная электрическая лампочка.

«Да это больничная палата», — подумал я. И мысль начала добираться до причины — как я попал сюда. Жгучая обида охватила мозг. Я припомнил усатое узкоглазое лицо казачьего урядника, трясущуюся бороду купца Индюкова. Мрачная палата поплыла кругом, от лампочки сыпались зеленые искорки. Истязания миновали меня на военной службе. После революции редко кто мог допустить их. И вот я лежал неподвижно, боясь пошевелить пальцем, чтобы не вызвать боль во всем теле, с трудом дышал разбитой грудью.

Ужас унижения в эту минуту был острее предстоящего конца. Мучительно не хотелось показывать свое бессилие, особенно чужим людям. И я начал выдумывать способы самоуничтожения. Усиленно внушал себе, что слабость во время пыток — позорна для бойца, нужно избежать всего этого.

Сделав усилие, я повернулся на бок и едва задержал отчаянный крик. Я только теперь понял, что болит больше левый бок и спина повыше поясницы. Боль головы сразу уменьшилась.

Ко мне подбежала женщина в черной косынке и ласково положила теплую руку на щеку. Затем наклонилась и дрогнул голос:

— Плохо, Андрюша!

Два слова, близкие и родные, горячо ударили в сердце. Я долго напрягал зрение, всматривался в красивое лицо, но узнать не мог. Под веками будто насыпан песок, казалось, что со мной шутила лампочка, убавляя свет.

— Успокойся, я сейчас приду.

Сиделка быстро вернулась с горячим кофе и начала поить меня из ложечки. Я слышал ее взволнованное дыхание, короткие заглушенные вздохи, видел вздымавшуюся полную грудь, все было так знакомо, близко. Но кто же это!

Сиделка приблизила лицо с подчеркнутыми синевой подглазицами, с глазами, полными слез, и опять сказала:

— Яша тоже здесь... Чувствует себя лучше, чем ты. — Свет от лампочки упал на лицо говорившей, и я воскликнул:

— Нина! Неужели ты!

Нина закрыла мой рот ладонью. Боязливо оглянулась и присела на табуретку к моему изголовью.

— Тише, тише, — зашептала она. — Не забывай, что я тоже в тюрьме. Под окнами часовые, и сестры ненадежные.

— Значит, отсюда не уйдешь никуда... Скоро опять придут за нами. — Я смотрел в исхудавшее лицо Нины. Оно сильно изменилось, побледнело, но сделалось строже, вдумчиво смотрели увеличившиеся глаза:

— Не придут, усни, успокойся... Завтра вечером все расскажу... Сейчас за нами придут... Мы ночуем в тюрьме, в женской камере. А вам не опасно, не думай много. — Нина поцеловала меня и бесшумно ушла. Где-то рядом гремели оружием, звенели шпорами и басовитый голос говорил:

— Собирайтесь, собирайтесь. Живо, марш!

Захлопали дверями. Под окнами заскрипел снег. Я глядел в белый потолок. По нему разбегались трещины, а из них получались контуры коровы с теленком. «Вам не опасно», — все еще звенели в ушах слова Нины. «Успокаивает», — думал я. Теперь было ясно, что нас привезли на расправу в город недавних битв, в первую советскую столицу Сибири. «Казаки не опознали, кто мы такие, поэтому доставили живыми. Здесь, конечно, не жди спасения».

Кругом шевелились люди, стонали, бормотали что-то невнятное. Мне хотелось подняться, посмотреть, но с каждой секундой тяжелела голова, наваливался непреоборимый сон. Люди лежали на полу, в этом не оставалось сомнения: они колотили в ножки кровати, валялись где-то ниже меня. Сон боролся с мыслями и успешно одолевал их. Корова и теленок исчезли. И вот уже на меня навалился мягкой грудью огромный бурый медведь, нежно обнял и сказал:

— Настенька.

Затем медведь обратился в купца Индюкова и душил меня, приговаривая:

— За расчетом мы не постоим. Вот тебе за зятька, за мою бороду, за орехи.

Связь предметов и их действий быстро терялась. Появлялись и исчезали давно забытые родственники, сослуживцы по царской армии, погибшие в первые годы войны.

Проснулся к вечеру следующего дня. Захотелось потянуться. Открывая глаза, я почувствовал, что опухоль на веках и лбу опала, меньше кололо бок и спину. «Значит, поправляюсь, для того чтобы подвергнуться новым пыткам», — подумал я.

В комнате на койках и на полу сидели и лежали обросшие, грязные, истощенные люди. У многих лица были желты, у других синие до прозрачности. Против меня человек с бритой головой курил цигарку и разгонял дым. На затылке у него вылазили тощие волоски, видимо, после тифа, он посмотрел сонными глазами и сказал глухим подавленным голосом:

— К вам приходили... Сейчас только.

— Кто?

— Сиделка Нина и один товарищ... Вот они.

Из дверей смежной палаты вышли Нина и Забродин. Вся голова у Яшки была забинтована, под глазами синие подтеки, исцарапан нос. Но шел он уверенно и даже улыбнулся:

— Разрисовали, брат, нас художественно, — начал он, садясь на табуретку. — Ну как, отдышался?

— Лучше бы нас прикончили.

— Обожди, наша смерть еще далеко ходит. — Яшка подвинулся ближе и, обняв Нину за плечи, попросил:

— Расскажи ему о здешних чудесах.

— А ты сам. — Нина обтерла губы полой халата, наклонилась. Только теперь я рассмотрел, что она сильно похудела, изменилась и смотрит, как человек в чем-то провинившийся, угрызаемый совестью.

— Ну вот видите какая встреча. — Нина всплакнула. — Хорошо, что вас чехи отобрали у этих гадов казаков.

— Ты о деле скорее, — настаивал Забродин.

— Так ты же знаешь... В общем, Филатов здесь выкачивает... Формирует из бывших красногвардейцев отряды, которые будут посланы на уральский фронт. Вот почему и нам, заключенным женщинам, разрешили работать в больнице. Ну, сейчас по всем камерам идет обсуждение. Одни за то, чтобы идти в отряд, другие — против. Добровольцев уже переводят в казарму. Вас обязательно будут спрашивать. Подумайте...

— Подумано.

Яшка смотрел спокойно, он решился на это бесповоротно.

Я поднялся на кровати без помощи, но Нина запротестовала:

— Лежи, а то санитар может заглянуть. Такая сволочь носастая... Шпионит...

— Как же ты решил? — спросил я.

— Математически, — Забродин сосредоточенно смотрел в мои налитые кровью глаза. — Надо написать воззвание к трудовому народу и прямо сказать: «Долой предателей, взявших из рук белогвардейцев винтовки».

— Дурь порешь, — заспорил я. — Во-первых, в наших руках будет оружие, во-вторых, — не тюрьма, а казарма...

— В-третьих, заставят тебя стрелять в своих, — перебил Яшка. — А не будешь — самого сзади шлепнут, как собаку. Знаем, как они построят этот отряд. На одного красногвардейца — поставят двух жандармов. Да отсохни до плечей вот эти руки, если они возьмут винтовку. Я еще думаю, что тут провокация.

— Какая!

— Надоело в тюрьме душить нашего брата, так они вывезут за город и — в сугроб.

— Зачем же тащили нас сюда!

— Черт их знает.

— Ну и запутался, — поддержала Нина. — Все товарищи идут, стало быть думают чего-то.

Яшка холодно встретил ее взгляд, поднялся и пошел в свою палату. Чем-то он был ушиблен. Между ними произошла какая-то размолвка. Забродина не меньше занимала вторая мысль.

Нина, печальная, растерявшаяся, постояла около меня и начала делать перевязку.

— Ты что-то хотела сказать, — обратился я к ней.

— Ведь тебе сказали... В армию вас берут...

— А еще что!

Нина заплакала, уронила на грудь голову и сквозь рыдания зашептала:

— Не ожидала я, что Яша такой дикарь. Нет, мужчины не могут понимать нас. Да если бы он знал, как мне тут досталось. Лучше бы умереть. Только о нем и думала каждую минутку. Его ждала, а он... Тоже передовой человек. Неужели ты к женщине так же бы отнесся, если бы с ней случилось...

Больше Нина не могла говорить и ушла, потревожив заснувших больных.

Потрясенный случившимся, я встал с койки и начал ходить по палате между лежащими на полу людьми. Сосед мой с бритой головой тоже поднялся и закурил:

— Что с ней? — спросил он.

— Не пойму... С мужем поссорились. Так любили друг друга и вдруг...

— Это ее муж сидел!

— Да...

— Не Забродин ли!

— Он самый.

— Так... И ваше обличье знакомо. Кажется, встречались... В полку Коновалова. С Лузиным ходили на чехов... Три орудия отобрали. Припоминаете!

— Где же теперь Коновалов! — оживленно спросил я.

Сосед оглянул спящих и подвинулся.

— С Власовым и Лузиным в Приморье действуют... Я от них для связи сюда пришел и попал на шпика. Так и не удалось отыскать подпольный комитет.

— А есть он!

— Еще спрашиваешь... Теперь такая пора наступила... В каждой деревушке организуются... Дело заворачивается на живот и на смерть. Даже газеты белых пишут, что на территории Сибири находятся красные партизанские отряды. Каратели угнаться за ними не могут. Вот почитай, увидишь. — Сосед подал газету «Свободная Сибирь».

— Свободой все козыряют, а она зарыта в земле и залита кровью, — покачал головой мой сосед.

На первой странице я прочитал о восстании крестьян на юге Енисейской губернии. Заметка была выделена на полосе, в ней писалось, что силы красных за рекой Маной растут и достигают двух тысяч бойцов, имеют винтовки и пулеметы. Руководят восстанием бывший ветеринарный фельдшер-прапорщик Захар Чалый, писарь Карнаухов и крестьянин Потанинской волости Федор Бабкин. Автор заметки, понятно, высмеивал безумные попытки большевиков воскресить «Совдеп», грозил неслыханными расправами зачинщикам.

«Кто такие Чалый и Бабкин?» — думал я, свертывая газету.

— Шумят везде. — Сосед начал рассказывать о восстаниях в Забайкалье, на севере восточной и средней Сибири. Были ли это восстания реальные или только ходили о них грозные слухи, но надеждами на партизан, как я понял, жила тюрьма и зажатые кольцом контрразведки рабочие, отрезанные от центра Сибири.

— Чего же дурит Яшка, — пожаловался я собеседнику. — Конечно, надо брать скорее оружие.

— В расстроенных чувствах парень, — ответил он. — Видишь — женку-то его здесь насиловали офицеры. Скандал поднят был нашими из-за этого. Видно, рассказала, вот и заскребло.

— Нину насиловали?! — забыв про боль, я направился искать Яшку, но сестра с золотыми зубами и грозной рыжей прической преградила путь.

— Ходить не полагается. Ложись. — Тон был повелительный, в нем чувствовалась дерзкая нотка хозяйки.

Ночь проходила мучительно долго. Сестра через каждые десять минут заходила в палату «укрощать» полушепотом беседующих заключенных. Во дворе скрипел под ногами снег, слышались воинственные голоса — там, несомненно, приводили новых арестованных. Время от времени где-то коротко гремели выстрелы, обрывая чьи-то жизни, умножая на земле скорбь близких, родных.

Перед рассветом в тюремном дворе фыркали кони, кричали люди. Заключенные притихли, но никто не спал. Кого-то увели из соседней палаты. Куда? Зачем?

Тяжелые двери центрального корпуса тюрьмы громко и беспрестанно издавали железный стон, будто жалуясь, что им не дают покоя неспокойные дела людей.

Утром Нина сменила сестру. Бледная, с воспаленными глазами, она подсела ко мне и сказала:

— Сегодня переводят в особую палату всех, кто записался в добровольную дружину. Как вы решили?

— Я иду, а Забродин ломается.

— Ну и черт с ним. — На ресницах у Нины заросились слезинки, колыхнулась грудь. Она хотела сказать еще что-то, но захлебнулась воздухом. И в этот момент я впервые увидел, как она хороша.

— Что у вас случилось? — спрашивал я, гладя ее руку.

— Стыдно и говорить. Ну, понимаешь, я беременная от Яшки уже пятый месяц, а он теперь говорит, что не от него. Как я буду доказывать, пока не родится ребенок. Да если и родится, он не поверит...— Нина отчаянно заломила руки и, не стесняясь присутствием больных, выкрикнула: — Я ненавижу его, теперь все кончено. Вытравлю ребенка и буду проситься на фронт, может быть, скорее там погибну. — От этих слов и измученного вида Нины в жилах холодела кровь. Я соскочил с койки и крикнул:

— Где Яшка! Веди меня к нему.

Но Забродин сам входил в палатку, почерневший, с дикими глазами и поникшей головой.

— Сволочь ты! — выкрикнул я сорвавшимся голосом. — Больше с тобой ничего не имею. Боец за новую жизнь! Женщина для тебя — тряпка... От нее требуешь, а сам на всякую кидаешься.

С коек поднялись больные. Яшка стоял посреди палаты как приговоренный на эшафот. Губы у него дрожали, а глаза непокорно и вызывающе бегали по склоненной фигуре Нины.

— Тут все перебесились, — глухо сказал он и вышел.

Успокоившись, я понял, что между супругами произошла временная вспышка. Обстоятельства роковым образом переплетались. Винить Нину было более, чем бесчеловечно, но и оскорбленные чувства Яшки заслуживали снисхождения, по крайней мере, дружеского вмешательства. Не верилось, что эта хорошая пара разойдется, тем более, когда всех нас ожидало неизвестно что.

Глядя в заузоренное инеем окно, Нина жаловалась:

— Вот так всю жизнь. Жила в прислугах с тринадцати лет, продавала на базаре сайки, готовила на жильцов... Везде насмешки, издевательства. Никто не жалел, никто не учил хорошей жизни. А каждая гадина хотела меня...

— Ничего, плюнь на все, — уговаривал я. — Если живы останемся — устроимся... Не он один на свете... — Я чувствовал, что Нине нужны были не эти слова, что она теперь еще больше любила Забродина, как отца своего ребенка и дорогую находку, после пятимесячной разлуки, и добавил:

— Я его проберу как следует... Сегодня же устроим ему суд... У него еще много от старого, от прошлого осталось.

В палату вошел доктор, сверкнул очками и сказал:

— Сестра, вас вызывают в канцелярию. Кажется... На волю...

У Нины вытянулось лицо.

Присутствующие в палате проводили ее тоскливым взглядом. Слово «воля» больно всколыхнуло сердца.

Я побежал за Ниной, зная наверное, что она зайдет к Яшке. Доктор повернулся вслед, но ничего не сказал.

Нина остановилась около койки Забродина, лежащего вниз лицом, и вызывающе сказала:

— Ну, прощай, Яша... Говорят, меня освобождают.

Забродин вскочил и выпрямился, в глазах, все еще красных, у него уже не было злобы.

— Освобождают! Ниночка! — Яшка обнял Нину и тихий, покорный припал головой к ее плечу.

Стена рухнула, но жгучая тоска жгла грудь. Оба мы провожали лучшего друга. Доведется ли увидеться!

Вечером в больнице появился комендант тюрьмы. Сутулый высокий офицер с леденяще холодными глазами и закаменело неподвижным бритым лицом. Три стражника и доктор остановились в дверях.

— Кто записался в добровольческий отряд! — послышался чистый властный голос.

Комендант поднял каракулевую шапку и обнажил глубокий шрам поперек лба. «У этого рука не дрогнет», — появилась первая мысль.

С коек начали подниматься измятые, истощенные люди, прощались взглядами с остающимися. Красноармеец из отрядов Лузина и Власова тоже начал собираться, но комендант остановил его.

— Верхотуров!

— Да.

— Останешься.

— Почему!

Неподвижное лицо офицера чуть искривилось. На нем шевельнулись мускулы.

— Долги платить. За тобой их, кажется, много.

Верхотуров смерил взглядом коменданта и бросил на койку какой-то сверток.

Во двор выходили с подавленным чувством, никто не представлял, что ожидает его впереди.

На чисто выметенную площадку, облитую лунным светом, намело снегу. Стражники строили в линейку вперед нас вышедших из тюрьмы «добровольцев». Около тюремных ворот виднелись фигуры солдат и на лунном свете ярко сверкали штыки.

— Подравняйсь!

Перед шеренгой прошелся невысокий, суетливый офицер, широко размахивая короткими руками.

— Ряды сдвой!

Шорох, хруст снега. Люди дрожали, выстукивали зубами.

— Ряды строй! Эх, армия! — Офицер хотел пустить крепкое ругательство, но сдержался, обтер побелевшие усы и начал считать шеренги.

Стоя в заднем ряду, я присматривался к фигурам арестантов, но ни одна из них не походила на фигуру Забродина. Припоминались первые дни военной службы, живо представлялись лица, голоса, привычки обучающих офицеров, ефрейторов, туповатых стрелков, которых гоняли гусиными прыжками, глушили снарядами. И в паутине этих мыслей резче и настойчивее выступала одна: «Куда поведут? Почему до сих пор не избивают?»

Офицеры остановились неподалеку от меня, и слышно было, как комендант сказал:

— Двести пятьдесят...

— Придется разбить на две роты, — ответил низкорослый офицер и скомандовал: — Правое плечо вперед, арш!

Неприятно запищали ржавые петли, ворота широко раскрылись. «Навсегда или только временно?» — подумал я.

Вот и знакомые улицы, дома, разрушенные в декабрьских боях. И тот же конвой, напоминающий юнкерскую стражу, сопровождающую пленных из губернаторского дворца. Только теперь рядом с нами шагали новобранцы, с плохой выправкой и вооружением. Что они думают? Может быть, такие, как Афанасий Дегтев, и попали в казарму по принуждению? Странно изменились вещи. Еще более странным казалось то, что нас сопровождали не казаки и чехи. Это наводило на размышления. Кажется, Верхотуров был прав. Ни в коем случае мы не можем рассчитывать на оказанное доверие, если бы дела на уральском фронте у сибирской белой армии шли так же блестяще, как писалось о них в газетах.

Нас привели в казачьи казармы и разместили отделениями. Здесь оказались приготовленные постели, а во дворе топилась баня. Взвод новобранцев во главе с унтер-офицером занял канцелярию и прилегающую к выходу комнату. Появился каптенармус с тюками белья и начал по списку выдавать его.

— Совсем похоже, что нас готовят в армию, — сказал я соседу по койке.

— А то как же. Эсер-губернатор и командующий меньшевик хитро придумали... Надо показать, что мы отреклись от Советской власти, чтобы знали там... в России... Вот какая тут ловушка, парень... На развал Красной армии бьют. На той неделе роту отправили. Дружины животворящего креста не особенно дерутся за Колчака.

— Но как же будем воевать? Ведь они знают, что публика мы ненадежная.

— Знают... Но попробуют использовать все средства, чтобы заставить нас стрелять в своих.

Сосед задумался. Мысль о нашей предстоящей роли угнетала каждого. Но по казарме ходили офицеры, шумел, называя фамилии, каптенармус. По столам группа запачканных солдат раскладывала буханки черного хлеба — нас собирались кормить ужином. На горбу двое новобранцев принесли во двор по огромной связке веников. После чего десятками начали отправлять в баню под начальством ефрейторов и унтер-офицеров.

— Кто кого перехитрит! — шептал мне сосед. — Как думаешь!

— Я не знаю, куда нас пошлют...

— Конечно, на Урал... Во как обставят, вот в чем штука. Дадут ли нам винтовки! Скорее всего поставят на укрепления, около роты, а там переколотят, как собак, и пикнуть не дадут.

— Много наших не пошло в отряд! — спросил я.

— Больше половины.

— А как они смотрят на это!

— Понятно, осуждают... Раздавались голоса об измене... В оборот мы попали. И никто не знает, будут винить нас в России или признают правильным... наш поступок.

В бане ожесточенно хлестались вениками. Вымывшиеся одевались прямо во дворе, несмотря на крепкий мороз. Изможденное грязью и насекомыми тело заранее чесалось; распарившиеся голыми выскакивали в холодный коридор; стучали о пол сапогами озябшие караульные. На улицах за высокими стенами тюремного двора пробегали извозчики, шумела жизнь, пьяная, суетливая. Слухи о ней проникали и в тюрьму. На улицах стрелялись офицеры из-за женщин, в рабочих кварталах и на предприятиях разгуливали казаки, искореняя большевиков и сочувствующих им. Беспрерывный колокольный звон напоминал о возврате недалекого прошлого, отвергнутого и смятого солдатскими сапогами. Но и в звоне чувствовалась тревога, непрочность настроения тех, кто господствовал в Сибири. Тюрьма уже знала, что с переходом власти к Колчаку во всех городах, в том числе и в Иркутске, где губернаторствовал Филатов, начались аресты эсеров, не вызвавшие особенных толков. Говорили, что атаман Красильников в офицерском собрании при многолюдном сборище поставил социалиста губернатора на колени и приказал ему петь «Боже царя храни». После этого Филатов в печати отрекся от своей партии и остался на посту начальника губернии.

События шли к логическому концу. Над Сибирью в кровавых ужасах, в пламени пожаров носился призрак двуглавого орла. Отшумевшие бои казались мелочью в сравнении с разгорающимися, с предстоящими. Хотелось скорее на волю, туда, где оружием решался небывалый на русской земле спор, где гибли за новое и старое.

В казарме появились две-три бритвы, ножницы. Пробудившаяся надежда на «лучшее» взбодрила людей. Началась подчистка. После поверки и ужина офицеры ушли. У каждой двери осталось только по дневальному. Это свидетельствовало, что окарауливают нас не особенно строго. Начались разговоры.

Огромный человек с рыжими, аккуратно причесанными волосами, ходил от койки к койке и передавал:

— Товарищи, завтра смотр... Потребуем, чтобы из нас составляли отдельную часть и завтра же обмундировали.

— Не выйдет, — возражали ему. — Обдурил офицерье...

— Конечно, рассуют в такие роты, что поневоле заставят стрелять в своих.

— Тогда пойдем обратно в тюрьму.

— Тоже не выход... Лучше подохнуть в сугробе, чем в подвале.

Я уже лег в постель, когда дневальный назвал мою вымышленную фамилию.

В дверях появилась Нина с узелками и свертками в обеих руках. Шаль на ней серебрилась от снега, щеки горели румянцем.

— Только поскорее, — предупредил дневальный.

Нина откинула воротник черного полушубка и вытерла губы.

— Вот, Андрей, — начала она раскладывать на подоконнике передачу. — Тут махорка, колбаса, белье. Я разделила пополам. Может быть, явится к вам тот сумасшедший. Ну, а если — нет — тебе сгодится.

— Ну, а ты как устроилась?

— Приютили ребята в кожевенном заводе... От них и передача.

— Как они живут?

— Каждую ночь выдергивают кого-нибудь. За городом в каждой яме трупы валяются.

Подошел дневальный, нагловато заглянул Нине в лицо и провел пальцем по верхней, еще голой губе.

— Разговаривать не полагается.

За дверями солдат пытался остановить Нину, но я слышал, как она ответила:

— Отстань, пока нос целый.

Четверть махорки быстро распределилась по карманам. Курили из кулаков. В казарме стало душно, но дневальные не хотели замечать беспорядков. Убедившись, что бежать никто не собирается, они закрыли на ключ двери и уселись играть в карты. После бани и сытного ужина людей быстро одолевал сон.

Но сон людей, испытавших ужасы пыток и смерти, был короток. Удушливый храп, стоны, разговоры во сне наполнили казарму. Через две койки от меня пел пожилой красноармеец «По диким степям Забайкалья». Его толкали соседи, но, умолкнув на минуту, он начинал снова. В углу метался в бреду молодой парень с широким монгольским лицом. Около него хлопотал великан с рыжей бородой и еще двое. Парня не могли удержать. Он молотил по койке ногами и хрипло кричал:

— Стешка, отдай ружье!

Утром в камере началось оживление. На двор въехали два высоких воза с шинелями и шапками, третий — с валенками и телогрейками. Сомнения рассеивались — нас действительно готовили на фронт, воевать со своими.

Не успела еще рассеяться муть сибирского морозного утра, как нас, одетых по-военному, выстроили в крайней длинной казарме. Появился вчерашний капитан с птичьим лицом и два краснощеких прапорщика. Приветствий не было. Поручик осмотрел первые ряды и торжественно сообщил:

— Сейчас прибудут начальник губернии и командующий военным округом генерал Волков.

— Почему же не Щелканов! — робко спросил кто-то в задней шеренге.

— Потому, что Волков, — резко усмехнулся поручик. — Щелканов не захотел волосы обрезать, а теперь власть безволосая. — Офицер повернулся к двери и выпрямился.

— Смирно! — прогудело по казарме.

В дверях остановились двое в шинелях. Филатов снял шапку и направился к нам. Иней густо облепил клинушек знакомой мне рыжей бородки и подрубленные усы. Сзади шел тучный, седоусый Волков с нахмуренным сердитым лицом, с красными от мороза ушами. Он был в фуражке и просторных сапогах. Что-то надломленное послышалось в голосе начальника губернии, когда он сказал:

— Здравствуйте, граждане красноармейцы!

Два-три голоса ответили на приветствия, и казарма замерла. Филатов прошелся по рядам, внимательно присматривался к застывшим угрюмым лицам. Два раза скользнул по мне взгляд начальника губернии. Затем Филатов отошел в глубь казармы, откуда он виден был всем, и начал так:

— Граждане, бывшие красногвардейцы! Мы приехали побеседовать с вами по душам. Мы имеем право расстрелять вас всех до одного. Но правительство дает каждому возможность искупить свою вину перед израненной, искалеченной родиной. Слепое было бы наше правительство, если бы стало на путь уничтожения людей заблудившихся. Кто вы такие! Одни, с запахом соломы и мякины, пришли из бездны деревенского невежества, из тьмы, из многовекового бескультурья, другие от станка, почти с таким же кругозором. И понятно, что отравленные большевистским чадом, измученные войной вы пошли за лживыми лозунгами, за шайкой немецких агентов, следом за собственной гибелью. И обожглись! Иначе и быть не могло. Смешно было думать, что соломенная Россия поведет за собой мировой пролетариат, когда сама его почти не имеет. И авантюра сорвалась. Этот мировой пролетариат сейчас громит красные банды со всех сторон: с юга, севера, востока и запада. А московские правители вместо социализма дали рабочим голод, людоедство, а мужиков ограбили до нитки. Случилось то, что еще в начале революции предсказывали мы, от чего предостерегали все здравомыслящие, понимающие ход событий люди. Совдепию не признает ни одно государство, в то время, когда нам помогают все великие державы мира. Как вы думаете, долго при таком положении продержатся большевики! Нет. Конец их предрешен. И чем скорее все это осознает русский народ, тем дешевле для государства обойдется прополка большевистских сорняков, тем быстрее страна станет на путь естественного самобытного развития, своего законного развития. Тем скорее прекратятся кровавые ужасы братоубийственной резни.

В течение часа Филатов говорил, повышая голос, пока он не начал хрипеть. Генерал Волков нетерпеливо шагал по казарме, склонив голову, и шевелил усами. Часто курил, бросал окурки к порогу, и они там долго дымились. У генерала негодующе сверкали глаза, краснела толстая шея. Было видно, что ни одному слову оратора он не доверял. И когда Филатов заговорил о задачах грядущего учредительного собрания, командующий войсками громко крякнул и направился в канцелярию. У нас дрожали ноги, пропала выправка, люди переминались, пошатывались.

Смущенный этим обстоятельством, оратор оборвал речь, как будто сразу лопнула ось под телегой, на которой он безудержно мчался в экстазе своего неистощимого красноречия. Начальник губернии привычно поклонился молчавшим слушателям и нетвердой поступью направился к выходу.

К нам подошел Волков и коротко спросил:

— Офицеры есть!

Молчание.

— Комиссары! — У генерала топорщились усы, глаза жгуче пронизывали арестованных, лица которых казались интеллигентнее.

— Все рядовые. — Волков жестко улыбнулся. Пощупал на прифланговом шинель английского сукна и распорядился:

— Выделить унтер-офицеров и начать занятия.

Около парадного крыльца командующего округом ждал автомобиль, в котором, наклонив голову, уныло сидел начальник губернии.

— На прогулку! — подали команду.

После долгого пребывания в душных помещениях морозный воздух опьянил. Пронизывал холод. Публика подскакивала. Резкий ветер свистал по железной крыше казармы. Офицеры построили роты.

Мы прошагали несколько кварталов. Город, разрушенный год назад, не изменил общего внешнего облика. Даже верхушки колоколен, изрытых пулями, не удостоились ремонта. Но в нем было много нового, ненавистного нам. Именные вывески на дверях магазинов, ларьков и многочисленных ресторанов красноречиво говорили о появлении на сцене прежних хозяев. И вот за их благополучие нам предстояло направлять оружие на своих.

Офицер старался выправить ряды, но люди шли вразброд, втягивали в ворота шинелей шеи, спешили, стараясь согреться. Наконец, офицер негодующе топнул и направил роту в казарму.

Из тюрьмы привели вторую группу красногвардейцев. Не обращая внимания на окрики конвоиров, Забродин отделился и подошел ко мне. Вид у Яшки не предвещал ничего хорошего. Небритый, с темными провалами глаз он был неузнаваем.

— Соболев здесь, — сказал он жестким голосом.

— Неужели?

— А вон посмотри.

Збродин потащил меня в смежную комнату. Красногвардейцы, отвыкшие удивляться, последовали за нами. Там пили чай вновь прибывшие, и среди них поглаживал отросшие усы Соболев. Узнав нас, он поднялся и пошел навстречу. Непритворная улыбка озарила его загрубелое угрюмое лицо. Соболев протянул руки, но Забродин грубо отшиб их и сжал челюсти.

— Долой, подметало! — крикнул он пересохшим голосом.

Соболев попятился, с испугом смотрел на меня. Публика заполнила комнату, ожила казарма.

— За что? — обидчиво спросил Соболев.

— За двойные глаза. Придумывай, какой смертью тебя отпеть, — наступал Забродин.

Свалку предупредило появление в казарме ротного командира. Отрядники, предвидя недоброе, начали расходиться по местам. Офицер, нюхая воздух, остановился перед Забродиным.

— В чем дело?

— Старые долги спрашиваются.

Офицер звякнул шпорами. Положенная на кобуру рука в перчатке задрожала.

— Приказываю отвечать без фокусов.

— Мы с ним из одной деревни, — вывертывался Забродин. — Немецкую бритву присвоил, а ее я привез с германского фронта.

Командир недоумевающе перевел глаза на удрученного Соболева и ткнул пальцем на Яшку:

— Два наряда. Разойдись!

И когда он вышел, Соболев в порыве отчаяния сорвал рубаху и показал исполосованную плетями, рубцеватую спину.

— Разве это не документ?! — Он не договорил и упал в постель, зарыдав как ребенок.

Укрощенный осуждающими взглядами публики, Яшка забился в темный угол. Я подошел к Соболеву, это подействовало на обиженного. Успокоившись, он рассказал, что был арестован вскоре после падения Сибирской областной думы. По дороге его хлестали плетями казаки и сдали в тюрьму полуживого. Два раза он пробовал жаловаться Филатову и ответа не получил.

— Если случится доказать, — Соболев застонал от внутренней боли. — Как думаешь, Андрей, поймут меня? Простят? Ведь я верил Филатову, ждал настоящую демократию. Неужели за ошибки надо убивать человека?

— Никто тебя не тронет, успокойся.

— А Забродин?

— Он отходчив. Покажи себя с другой стороны, и все обойдется.

— Да теперь я распутал все петли... И не я один, все, кто честно желает революции, поняли соглашательскую демократию. Глаз выбью тому, кто скажет, что Щелкановы и Филатовы доброжелатели для нас.

Этим «для нас» Соболев бесповоротно причислил себя к борющимся против генералов рабочим и мужикам. Путь его был особенно показателен для тех дней. Казачьи плети и работа контрразведки сразу внесли ясность в умы колеблющихся, ярко очертили курс Сибирского правительства, на помощь к которому пришли армии иностранцев.

Скандал, сущность которого была скрыта от начальства, не остался безразличным для отрядников.

Успокоив Соболева, я отправился искать Яшку. Он рассказывал кучке красногвардейцев о поведении Соболева в прошлом, сопровождая каждое слово приправой. Со стороны слышались замечания:

— Надо проверить его. Застукает еще.

— А спина!

— Не торопитесь судить.

К Соболеву с этого вечера стали относиться сдержанно. Забродин договорился с двумя красногвардейцами о перемене коек, и мы устроились рядов. И когда в казарме наступила тишина, я спросил:

— Как же ты надумал к нам?

— Дело такое вышло. Во-первых, Филатов осматривал тюрьму и долго присматривался ко мне. Одного забайкальца узнал и тут же распорядился перевести в одиночку. Потом спросил мою фамилию и, услышав ее, покачал головой. Из этого надо было заключать. Во-вторых, если нам выдадут оружие, лучше умереть в бою, чем на шварке.

— Правильно. — Вспомнив про передачу, я достал кошелек и положил его на койку Забродина:

— Вот ты обидел Нину, а она смотри как заботится.

— Не говори об этом, — сердито остановил Яшка, как вспомню, что в брюхе у ней сидит белогвардеец, сердце кипит... Помощник коменданта ее ночевать уводил. Казачий офицер. Показывали мне его. Смазливый такой, похожий на монгола.

— Но ведь она не добровольно ходила...

— Должна была сдохнуть под наганом, но не позволять поганить себя, — резко оборвал Забродин.

— А ты подбивался к Даше, за это себя не винишь?

— Пошел к черту! Что я баба... Сравнил!

Яшка бросил кошелек на пол и повернулся лицом к стене. Нелепость собственного суждения пристыдила его. Через минуту я услышал:

— Андрюшка, ты не знаешь, где она квартирует?

— У кого-то из рабочих кожевенного завода.

— Отпросимся завтра и пойдем к ней?

— Если отпустят.

Забродин сел на мою койку и наклонился к уху. От него пахнуло никотином и чесноком.

— Знаешь, а если трахнуть здесь восстанием, — тихо заговорил он. — Ребята кипят как сера, только спичку сунуть.

— Без оружия!

— Нет, когда выдадут... Пока надо готовиться. Шумиху вроде Соболева выкинем. Ворвемся в какую-нибудь казарму к новобранцам и агитнем. В случае неустройки — подадимся в леса.

— Ты забываешь, что в городе полно офицеров и чехов.

— Не первый раз бить их...

Яшка прикусил язык. Проходом между коек мелькнула тень, затем четко обозначился профиль птичьего лица. Капитан Клещев, командир нашей роты, подошел к выключателю и дал свет. В это же время от дверей крикнул дневальный:

— Поднимайсь!

Затрещали койки, застучали о пол голые ноги. Не зная зачем и куда, публика спешила разобраться в ворохе вещей, перепутывая и теряя их. Три человека, перепуганные спросонья, ослабевшие, хватались за груди и не могли подняться с коек.

Нас вывели из казармы на площадь. По знакомым улицам две роты невооруженных красногвардейцев-арестантов зашагали в окружении казаков.

На станции спешно формировался воинский эшелон. Забайкальские казаки выводили из вагонов низкорослых коней.

Командир сотни требовал у станционного начальника открытия водопровода, кому-то грозил атаманом Семеновым. Сотник очень развязно разговаривал с командиром, у которого тряслась голова и от мороза на глазах выступали слезы.

Вслед за нами пришли на вокзал учебная команда и еще какие-то сводные роты. Рассматривая их, Забродин сказал:

— Лоскутья бросают на фронт. Видно шквал качает адмиральское судно...

А. Г. БОННЕР

ПРИ ЖИЗНИ ЛЕНИНА

Огромными тиражами печатаются теперь труды В. И. Ленина, но никогда не утратят для нас интереса издания, вышедшие при его жизни. Они стали реликвиями славного революционного прошлого. Особенно редки дореволюционные издания ленинских работ. Причина этого не только в том, что время не щадит такое хрупкое создание рук человеческих, как книга, но также и в том, что произведения В. И. Ленина беспощадно преследовались, изымались и уничтожались в царской России.

Однако в крупнейших библиотеках Иркутска сохранились некоторые дореволюционные издания произведений В. И. Ленина. В Научной библиотеке Иркутского университета есть немало интересных и ценных книг. Среди них прежде всего необходимо назвать редкое нелегальное издание работы Ленина «Задачи русских социал-демократов». Выпущено оно в 1902 году в Женеве Заграничной лигой русской социал-демократии. Заграничная лига, созданная по инициативе В. И. Ленина в октябре 1901 года, в период до II съезда РСДРП вела революционную агитацию и пропаганду, организовывала доставку в Россию ленинской «Искры» и издавала популярную марксистскую литературу.

Издание 1902 года — это второе издание работы В. И. Ленина «Задачи русских социал-демократов». Первое выпущено также в Женеве в 1898 году группой «Освобождение труда». В. И. Ленин сам подготовил к печати второе издание своей брошюры, исправил неточности, допущенные при печатании первого издания, написал предисловие. Он подписал брошюру своим излюбленным псевдонимом: Н. Ленин. В верхней части титульного листа лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Под ним слова: «Российская социал-демократическая рабочая партия». Наша брошюра — типичный образец нелегального издания. Она издана малым форматом, не имеет обложки, чтобы быть тоньше, незаметнее. Напечатана убористым четким шрифтом на тонкой и прочной бумаге.

С этого издания сделана перепечатка и в собраниях сочинений Владимира Ильича, так как рукописи этой работы не сохранилось.

В 1903 году в Сибири впервые была напечатана работа В. И. Ленина «Письмо к товарищу». Место издания на брошюре не обозначено, но указано, что она напечатана в типографии Сибирского социал-демократического союза в июне 1903 года. Сибирский социал-демократический союз по-своему озаглавил брошюру: «О революционной работе в организациях Российской социал-демократической рабочей партии (Письмо к товарищу)». Интересно, что впервые работа напечатана именно в Сибири. Этот факт подтвердил сам Владимир Ильич в авторском предисловии, написанном в январе 1904 года. В нем говорится о «Письме к товарищу»: «Сначала оно ходило у всех по рукам в копиях и распространялось по России как изложение искровских организационных взглядов. Затем Сибирский союз в июне прошлого года перепечатал это письмо и распространил в весьма значительном количестве экземпляров»[1].

Большое распространение брошюра получила в Иркутске, который в этот период был центром деятельности Сибирского союза РСДРП. Еще годом раньше, летом 1902 года, в городе существовала группа сторонников газеты «Искра». Она вела пропаганду идей В. И. Ленина о необходимости создания партии нового типа. В нелегальных типографиях большими тиражами издавались брошюры, статьи из «Искры» и листовки. Через месяц после выхода ленинской работы, в июле 1903 года в Иркутске была созвана Первая конференция Сибирского союза РСДРП. Только после ареста значительной группы товарищей, обвиненных в печатании, хранении и распространении нелегальной искровской литературы, в конце 1903 года центр деятельности Сибирского союза переместился в Томск.

Вследствие полицейских преследований сохранилось лишь очень малое количество экземпляров сибирского издания «Письма к товарищу», и теперь оно является большой редкостью.

Наш экземпляр тоже побывал в жандармском управлении. Об этом свидетельствует круглое отверстие от дырокола прямо по тексту и наклейка на титульном листе брошюры: «№ 4 Миловидов и Келлерман». По-видимому, это фамилии лиц, привлеченных к ответственности за хранение нелегальной литературы, а № 4 — порядковый номер конфискованной брошюры. По-видимому, позже к нашему экземпляру был подклеен листок, который к нему не относится, но очень интересен. Это объявление о печатании в Женеве новых изданий Союза русских социал-демократов. Оно включает шестнадцать названий.

В период Первой русской революции произведения В. И. Ленина сыграли огромную пропагандистскую и организационную роль. В это время они издавались как нелегально, так и легально. В связи с революционным подъемом цензура была вынуждена летом 1905 года разрешить выпуск марксистской литературы. Произведения В. И. Ленина, изданные с разрешения цензуры, обычно сокращены, искажены, наиболее острые фразы вычеркнуты. Это существенный недостаток легальных изданий. Но они были доступны всем, так как широко продавались в магазинах и выдавались в библиотеках.

В подцензурных легальных изданиях в 1905 году вышли две работы В. И. Ленина: «Аграрный вопрос и «критики» Маркса» и «К деревенской бедноте». Обе они были опубликованы еще до революции 1905 года.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 5.

Одесское издательство «Буревестник» выпустило брошюру В. И. Ленина «Аграрный вопрос и «критики» Маркса» довольно большим по тому времени тиражом — пять тысяч экземпляров. Судя по штампам и надписям на наших двух экземплярах, оба они приобретены в Иркутске в книжном магазине Макушина и Посохина. Их купили для Иркутской земской управы, а позднее передали в дар молодому Иркутскому университету.

Работа В. И. Ленина «К деревенской бедноте» была написана в 1903 году в связи с ростом революционных выступлений крестьянства. Она рассчитана на самого широкого читателя. Это популярная брошюра для крестьян, в которой Владимир Ильич до предела просто разъясняет, чего добивается рабочая партия и почему крестьянской бедноте нужно идти вместе с рабочими. Поэтому брошюра так и называется: «К деревенской бедноте. Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы». Эта работа дважды издавалась за границей (в 1903—1904 годах). В 1905 году она выходит в России, в подцензурном и нелегальном изданиях. В сентябре-октябре 1905 года петербургское издательство «Молот» выпустило ее под измененным заглавием: «Нужды деревни. (К деревенской бедноте)». Одновременно Московский комитет РСДРП нелегально напечатал полный текст брошюры «К деревенской бедноте» тиражом десять тысяч экземпляров. Интересно сравнить эти издания. Оказывается, «дозволенный цензурою» текст существенно отличается от того, что было написано Лениным. Например, из первого раздела «Борьба городских рабочих» выпущена половина абзаца о деятельности РСДРП, а вторую половину издатель излагает «своими словами». Другой пример сокращения в угоду цензуре — отсутствие половины страницы текста в конце брошюры, где говорится о нарастающей революционной борьбе рабочего класса. В легальном издании в отдельных фразах изъяты слова, придающие им революционный смысл. Например, на шестьдесят второй странице читаем: «...Приучать его к дружному отпору и к мысли о необходимости добиться изменения государственных порядков».

Бросается в глаза расплывчатость формулировки, совершенно не свойственная Ленину. Оказывается, издатель убрал здесь всего одно слово, но слово, несущее основную смысловую нагрузку. У Владимира Ильича эта фраза заканчивается словами: «... силой добиться изменения государственных порядков». В нелегальном издании слово «силой» — на своем месте, и фраза приобретает иное, совершенно определенное, революционное звучание.

Нелегальное издание работы В. И. Ленина «К деревенской бедноте», выпущенное Московским комитетом РСДРП, отличается не только полнотой и точностью, но и тем, что включает в виде приложения Программу РСДРП и пояснения к ней.

Подъем революционного движения осенью 1905 года привел к тому, что предварительная цензура была отменена. Но продолжала существовать последующая цензура, то есть требовалось представлять на разрешение уже напечатанные книги в день их выпуска. Но многие издатели революционной литературы не считались с этим и не посылали в цензурное ведомство изданные книги и брошюры. Это дало большевикам возможность широко развернуть издательскую деятельность. Весной 1906 года было создано большевистское издательство «Вперед» (просуществовало до лета 1907 года, когда было закрыто полицией). Оно выпускало книги под маркой издательства «Наша мысль» и других издательств.

Брошюра «Победа кадетов и задачи рабочей партии» написана в марте 1906 года в связи с итогами выборов в 1-ю Государственную думу. В апреле того же года партийное издательство «Вперед» (также под маркой книгоиздательства «Наша мысль») напечатало восемнадцать тысяч экземпляров брошюры, но лишь небольшую часть удалось спасти от ареста и уничтожения по приговору суда. Зато при печатании работы В. И. Ленина «Доклад об объединительном съезде РСДРП (Письмо к петербургским рабочим)» большевикам удалось обойти запрещение цензуры. История этого издания такова: «Доклад» печатался в Петербурге в типографии книгоиздательства «Дело». В момент печатания полиция произвела в типографии обыск, изъяла несколько экземпляров «Доклада» и доставила в Петербургский комитет по делам печати. Комитет наложил на брошюру арест, но когда явились за ней в типографию, там не оказалось ни одного экземпляра. Для «Доклада» срочно была отпечатана новая обложка. На ней «для отвода глаз» как место издания была указана Москва. Вот почему и на нашем экземпляре помечена Москва, хотя отпечатан он в Петербурге.

В. Д. Бонч-Бруевич в своей статье «Некоторые сведения о В. В. Воровском» («Звезда», 1930, № 9—10) вспоминает, что в первый же вечер по выходе из печати брошюра была распродана на Невском мальчишками — уличными продавцами. Когда полиция стала ловить мальчишек, весть об этом мгновенно облетела весь Невский и другие районы, и книжечку Владимира Ильича брали нарасхват несмотря на то, что продавцы сейчас же подняли цену. Вместо двадцати пяти копеек платили и рубль, два и три. За один вечер был распродан огромный по тому времени тираж — пятьдесят тысяч экземпляров.

В Научной библиотеке университета хранятся также книги В. И. Ленина, изданные в 1908 году. Это второе, значительно дополненное издание его капитального труда «Развитие капитализма в России» и сборник «Аграрный вопрос». Обе книги подписаны псевдонимом, которым часто пользовался Владимир Ильич при публикации своих трудов в легальной печати: Владимир Ильин.

Книга «Развитие капитализма в России» завершила разгром народничества и «легального марксизма». Владимир Ильич вложил в нее свыше трех лет труда в условиях тюрьмы и ссылки. Несмотря на огромные трудности, связанные с получением книг и статистических материалов, он использовал в своем труде около шестисот различных источников на русском и иностранных языках. В. И. Ленин адресовал книгу не ученым специалистам, а самым широким кругам читателей. Поэтому каждая глава обсуждалась жившими в Минусинском округе ссыльными социал-демократами, и Владимир Ильич чутко прислушивался к их замечаниям.

В сборник «Аграрный вопрос», часть первая, вошли статьи по экономическим вопросам, уже появлявшиеся в легальной печати. Здесь впервые полностью опубликована работа Ленина «Аграрный вопрос и «критики» Маркса», над которой он работал в 1901, а затем в 1907 годах.

В 1915 году, живя за границей, В. И. Ленин работал над книгой «Империализм как высшая стадия капитализма». Она вышла из печати в Петрограде в середине 1917 года. Напечатана партийным большевистским издательством «Жизнь и знание». Книга вышла под заглавием «Империализм как новейший этап капитализма. (Популярный очерк)». Предисловие к ней написано Владимиром Ильичем по возвращении в Россию, в апреле 1917 года. В предисловии он говорит о трудностях, которые должен преодолевать революционер, берущий в руки перо для «легального» произведения. Он вынужден был говорить о политике «с громаднейшей осторожностью, намеками», «проклятым эзоповским языком».

После февральской революции возродилось большевистское издательство «Прибой». Оно выпустило ряд работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Из ленинских работ, опубликованных «Прибоем», в Научной библиотеке хранятся две. Обе вышли из печати в сентябре 1917 года, накануне Октябрьской революции. Это «Уроки революции» и «Задачи пролетариата в нашей революции». Последней работе издательство «Прибой» дало подзаголовок: «Проект пролетарской партии».

Открыто выступая как большевистское издательство, «Прибой» печатает на обложках и титульных листках выпускаемых брошюр наименование своей партии: Российская социал-демократическая рабочая партия и лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Книгу Ленина «Задачи пролетариата в нашей революции» наша библиотека получила в дар от известного иркутского историка М. А. Гудошникова.

В первые годы Советской власти книги В. И. Ленина выходили большими тиражами, но уже через несколько лет становились библиографической редкостью. В январе 1918 года в Москве проходил III-й съезд Советов. Вскоре после этого в труднейших условиях борьбы за укрепление Советов в Иркутске вышла стенограмма доклада и заключительной речи В. И. Ленина на III Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Книжечку издал Отдел народного образования при областном исполнительном комитете Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов Восточной Сибири. На титульном листке указано, что автор — Н. Ленин, председатель Совета народных комиссаров.

Нам дороги скромные издания Политотдела 30-й стрелковой дивизии, освобождавшей Сибирь от Колчака. С боями продвигалась 5-я армия на Восток, а в перерывах между боями Политотдел печатал партийную литературу и в первую очередь — работы В. И. Ленина. Брошюра «Революция и мелкобуржуазная демократия» напечатана в Красноярске, а сборник «Материалы по аграрному вопросу» — в Иркутске, после освобождения нашего города.

Дорогим подарком к пятилетию Иркутского государственного университета был сборник избранных статей и речей В. И. Ленина «Тактика большевизма», изданный в 1923 году. На его переплете вытиснена надпись: «От курсантов 9-й Иркутской пехотной школы комсостава РККА. Пролетарскому студенчеству Иргосуна. Грызи ленинизм».

У каждой ленинской книги своя судьба, своя история, но все они, борцы и агитаторы, сыграли огромную роль в деле революционного воспитания трудящихся.

ЛЕОНИД ПОПОВ

Перевел с якутского Анатолий Преловский

ЛЮДЯМ

Не спешите хулить человека,
если он и достоин хулы.
Может статься, словцо похвалы
больше сделает для человека.
Ничего у него не отнимет,
но скорее из грязи
поднимет.

Не спешите хвалить человека,
если он и достоин хвалы.
Может быть, не словцо похвалы
больше сделает для человека.
Не принизит его, не уронит,
жажду сделаться лучше
заронит.

Но одним, от рожденья до смерти,
одаряйте, о люди, людей —
верьте в доброе,
в светлое верьте.
верьте, люди, в хороших людей.

И от этой пожизненной веры
в безусловную силу добра
мир предстанет вам
вовсе не серым,
но — из золота и серебра.

ПЕСНЯ

В будний день,
не в пиру, не в похмелье,
на краю небольшого села
хороводы гудят и веселье.
Вот и песня оттуда пришла.

Широко она так развернулась,
растеклась от ворот до ворот,
заблудилась средь считанных улиц
и нашлась
у тропы на завод.

И оттуда,
с молочной поляны,
протянулась опять до села,
как вечерние наши туманы,
тихо-тихо по улице шла.

Стало мне хорошо и счастливо.
Я окно затворить не успел.
Не расслышавши толком мотива,
что-то сам потихоньку
запел.

И в бездумном согласии этом
с безымянною песней ночной
был я в мире
со всем белым светом,
а певцы, мне казалось,— со мной.

Видно, людям неплохо живется,
и беда отошла далеко,
если так нам свободно
поется,
веселится светло и легко.

НА ВЕРХОЯНЬЕ!

По небу тихо катится луна,
метель метет по улицам кирпичным,
а ты сидишь,
Опять сидишь одна
в раздумии своем единоличном.

Оставь!
Гляди, опять, опять луна
дорогу мне на Север осветила.
Метель метет, суха и холодна.
Хочу, чтобы меня ты проводила.

Уж не до моря, хоть бы до горы,
где мы простимся —
и моя упряжка
помчится вдаль, в снега, в тартарары,
где без тебя и радостно, и тяжко.

Далекий путь на Верхоянье лег —
оленьи тропы,
лежки, перегоны.
И месяца задумчивого рог
мне направленье кажет с небосклона.

Встают сиянья на моем пути,
переливаясь цветом глаз любимых.
Зеленые!
Мне их не обойти.
Гоню оленей, и сугробы — мимо.

А ты сидишь, наверно, у окна
в раздумии своем единоличном,
не друг мне,
не помощник,
не жена.
Метель метет по улицам кирпичным.

Но я работу сделаю свою,
как повелось в роду,
как это надо
мужчине, создающему семью,
и лед в груди любимой—не преграда.

Придет, придет великий день и час—
я отниму тебя у размышлений,
и на небесных нартах будут нас
нести по тундре
вольные олени.

И засмеешься,
и заплачешь ты,
навек забудешь о своей печали
от бега и от вечной красоты
снегов, что впереди и за плечами.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Белой ночью
белые туманы
растеклись по дремлющей земле,
и застыли кедры-великаны
в серебристой, зыбкой полумгле.

Все уснуло —
и зверье, и птицы.
Лишь летяге-белке не до сна:
прошуршит по веткам, как примнится.
Скрип куста. И снова тишина.

И ни день, ни ночь — немой и странный
час надежд, прозрачный, как слеза.
Все как в жизни:
впереди — туманы,
луг — вблизи,
а под ногой — роса.

И теплынь, и свет! И зрелость лета —
роста безоглядная пора.
Свет с небес,
и ты в потоках света,
и душа раскрыта для добра.

ЦАРИЦА

Ты была моей вздорной царицей,
я тебе поклоняться устал
и однажды забыл
подчиниться,
а потом осмелел и восстал.

И как раб, одурев от свободы,
все, что мог,
я разрушил и сжег —
и остался на долгие годы
равноправен, смешон, одинок.

СТАРЫЙ ОХОТНИК И Я

Старый охотник поднялся до света,
свистнул собаку, проверил ружье.

Я еще сплю и не чую рассвета,
не подошло еще время мое·

Старый охотник идет по распадку,
снег не скрипит под умелой стопой.

Я пробудился и встал на зарядку —
двигаю сонно рукой и ногой.

Старый охотник пускает по следу
пса. И жаканом ружье зарядил.

Я раскурил натощак сигарету,
вынул газеты и кофе сварил.

Старый охотник меняет походку.
Замер. Курок у берданы отжат.

Я в зоопарке сую сквозь решетку
хлеб медвежонку, и руки дрожат.

Старый охотник подумал, стреляя:
«Только... бы только б Хозяин не встал...»

Я, по бульварам столичным гуляя,
вспомнил — давно я стихов не писал.

Старый охотник медведя свежует,
бросил голодному псу требухи.

Я, представляя, где он заночует,
о старике составляю стихи.

Старый охотник газету читает,
ищет стихи мои, трубка горит.

Вот и прочел, перечел и вздыхает,
верит-не верит: «Ну-ну...»— говорит.

ДОЛГ

Я в долгах, как в шелках,—
пред Якутском и Москвой,
перед птицей в облаках,
пред людьми
и пред собой.

И врагов не добил
И стихи не дописал.
Не допил. Не долюбил.
Лучших слов не досказал.

Жил, как свечка на
ветру,—
никого не обогрев.
Так, наверно, и умру,
расплатиться
не успев.

За тревожный лад души.
И за все, что я умел,
И за все, что совершил.
И за все, что не успел.

В неоплатном долгу!—
главный стих не дописав,
умирать я
Не могу.
Не имею прав.

ОСКАР ХАВКИН

* * *

Через лес,
хмельной,
как память,
Через синь,
и желть,
и пламя,
Вглубь и вдаль —
еще, еще!—
И лосиными губами
Осень ткнулась мне в плечо!

Семя бросай!
Семя бросай!
Семя бросай!
Во влажную землю, в черствую землю
Семя бросай!
В светлую душу, в темную душу—
Семя бросил — к земле привались,
Семя бросил — к душе приклонись —
Слушай!
Слушай: время идет,
День за днем, за годом год,
Семя в глубинах звенит и поет,
Вырвется семя — семя взойдет,
Вырвется семя — добром прорастет!
Семя бросай!
Семя бросай!

> За радость тихую дышать и жить,
> Кого, скажите, мне благодарить?
>
> О. МАНДЕЛЬШТАМ

Кого благодарить за то, что в путь я вышел,
За путь под солнцем, меж цветов и вишен,
За руки сладкие, что мне легли на грудь,
За грозы и снега — за весь мой, весь мой путь!

Кого благодарить за беды и утраты,
За слезы матери, за смерть отца и брата,
За жгучую воспоминаний нить,
За все, за все — кого благодарить!

Где случай — где предназначенье,
Где ворожба — и где судьбы течение?
Кто знает? Кто открыл? Кто понял? Кто обрел?
Кто людям вновь солжет, что истину нашел!

САРАНА

Сарана растет на скалах,
Сарана растет из скал —
На раскатистых увалах
И на диких перевалах,
Там, где черт жену искал!
Сарана растет на кручах,
И в расщелинах сыпучих.
И среди лугов зыбучих —
Сарана!
То грядой уйдет далеко,
То в раздол сойдет глубоко,
То гурьбой, то одиноко —
Высока,
Стройна,
Крепка.
И гудит душой шмелиной,
И звенит весной пчелиной
Красный колокол цветка!
То она —
Сарана!
Впереди березы стала,
Из лесной шагнула тьмы,
Как вожак в рубахе алой
Средь зеленой голытьбы!
Все саранка-сарана!
То изгорьем, то низовьем,
И по близи и вдали —
Словно капля шалой крови
Из глубинных жил земли!
Сарана! Сарана!
Поднялась в траве зеленой,
Листья узкие вразлет —
Будто в бой она зовет!
Будто рваные знамена
Здесь оставил пятый год.
И семнадцатый оставил
И двадцатый разбросал
Там, где кровь поила травы,
Там, где бились между скал!
Все саранка-сарана!
На машине грузовой —
Сарана!
И на вышке буровой —
Сарана!
Перед будкой машиниста —
Сарана!
Под окошком тракториста —
Сарана!
Солнцем залитые дали.
Сосны синею стеной.
Приезжайте в Забайкалье
За саранкой-сараной!

А. ЗВЕРЕВ

ДВА РЫБОЛОВА

Рассказ

География моего рыболовства начинается от Байкала, от того Шаманского камня, о котором говорили в любом проезжающем вагоне:

— Где, где этот Шаманский!

— Да вон, посреди реки.

— Маленький-то такой! А я думал...

И я думал с самого детства, как, должно быть, велик тот камень, если о нем говорят все, если о нем сочиняют сказки.

Судьба рыболова закинула меня на этот камень, засиженный птицами, расколотый на три части, серый и скучный, как тысячи других камней. Я приготовил спиннинг, и приловчился на краю, и скоро убедился, что вокруг меня не глубокая бездна, как мне всегда думалось, а самые обыкновенные береговые отмели. За весь день отсидки на камне не встретился я ни с экзотикой, ни с рыбой.

И вообще первые мои рыболовные опыты были печальны. Как тень, ходил я за Алешей Худашовым, решившим приобщить меня к этому занятию. Я бросал снаряд туда, куда бросал он, привязывал мушку такую, какая у него, словом, пытался подражать во всем. Три дня отпуска кончались тем, что с реки я возвращался без единой мольки. Смущенный моей неудачей, Алеша утешал:

— Ангара. Что поделаешь! В ней и добрый рыбак не всегда поймает. Ты упрямый, у тебя получится.

Против моей квартиры Алеша снимал с плеча тяжелую корзину и вынимал несколько хариусов, лукаво улыбаясь.

— Скажи, сам поймал. Неудобно как-то без рыбы.

В этот раз на рыбалку меня не пригласил, что значило: «Сам дорогу знаешь. Не дурак, так научишься и без меня».

Меня уже слегка потряхивала рыболовная лихорадка. Сидя на берегу, я поглядывал на темную кочку Шаманского — не махнуть ли на него. Я упросил рыбака перевезти меня туда. Уж я тебе покажу, Худашов, что и я не лыком шит.

Кончилось тем, что и на этот раз я рыбу купил. Жене сказал, что ловлю сам и, видишь, чем дальше, тем больше. Вот уже и килограмм поймал. А назавтра собрался ехать вновь. Жил я среди кондукторов, машинистов и прочей железнодорожной братии, людей смелых, веселых и великих любителей рыболовства. К рыболовам машинисты почтительны. На полном ходу они притормозят поезд, чтобы принять запоздавшего рыболова. Машинст будто и не видит, как на тендере угнездилось пять-шеть человек. Я среди них новичок, но знают меня многие: я учу их детишек. Мы преклоняем головы, чтобы нас не увидел дежурный охранник или кто из начальства.

По ушам ударил свисток, закачался тендер. С перрона грозит нам пальцем дежурный, тоже страстный рыболов.

— На-ка вот, прикройся, учитель.

Кто-то набросил на меня плащ, чтобы угольная крошка не забивала нос и глаза. Тендер — самая неспокойная часть поезда. Крепко нагруженный углем, он шарахается в стороны, вздрагивает, подскакивает, ворочается и скрипит, и кажется, еще один лихой поворот, и мы все полетим в набегающую реку. Но стальные жилы тянут его вперед, к далекой цели.

На знаменитом шестьдесят девятом километре машинист притормознет — тут и успевай соскочить, рискуя получить ссадины и синяки. Кто из рыболовов не знает этого километра! У кого радостно не билось сердце при подъезде к нему! Там живет обходчик

Нил Иванович Деликатный — такая необыкновенная фамилия. Он мне приглянулся с первой встречи. По путям он шел с киркой и лопатой, сухонький и большеглазый. Он и показал мне тот отбойчик, чуть повыше километрового столба. Горная отсыпь клином входила в реку и отбивала течение. Не скажу, что указанный Деликатным отбойчик был велик, но я до сих пор остаюсь благодарен ему — тут я поймал первого хариуса в жизни.

— Ты знаешь, я хожу сюда, как в магазин, — хвалил место Деликатный. — Жена воду в печку, а я на реку за рыбой. И кидать далеко не надо, поглубже делай настрой. Его и сволокет в ямку. А там жди — клюнет, обязательно.

Слово «обязательно» обходчик повторил настойчиво и многократно. С душевным трепетом я спустился к воде, и все мои приготовления, казалось, идут медленно: червяки закрашиваются долго, настрой в сумке отыскался не сразу. Отбойчик кипит, голубая струя шумно пробегает у ног, и будто каждый камень приготовился к радости или огорчению.

Я прикинул глазом место, где клюнет, и спускаюсь мысленно на дно, вижу табун жирных хариусов, они ловят бормашей и веснянок — и вот как кстати мой розовый червячок. Я горд, что один, и если удача, я непременно отыщу Худашова. Я уже вижу, как завистливо блестят глаза его, когда в корзине моей он увидит много темно-сизых рыб.

Руки напряжены, они вмиг подхватят нырнувший поплавок. Но поплавок сперва бойко понесся, дергаясь и качаясь, затем присмирел. Течение заволокло его в тишинку и словно поставило на якорь. Или лишку дал глуби! Или дальше или ближе надо кинуть! «Так тебе и клюнет с первого разу», — утешаю сам себя.

Я забрасываю снова и вспоминаю слова Алеши. «Пытать надо всяко, переживлять, прибавлять и убавлять. Искать надо». Поплавок мой опять сбоченился, словно прилег вздремнуть, опустил белые плечи, уронил черную голову. Я знаю: он может хмуриться, смеяться, играть, пьяно шататься. Что же такое! Или перепутал что Деликатный! Может, стал я не на то место! Я делаю два шага ниже и вместо червя привязываю мушку, подаренную Алешей. Мушка рыжая, и сквозь лохматинки проглядывают ребрышки, как у живого бормаша. Так весело торчат на ней рыжие волосинки. Неужели и на нее я не поймаю! Нет, я должен поймать непременно. Чувство непременности сопутствует каждому обновлению снаряда. Оно-то, мне кажется, и корень страсти рыболова. Поленишься, перестанешь искать, и страсть потухает. Но зачем обобщения! Рано, слишком рано мне до них.

К мушке я присаживаю самую крупную веснянку, и так засела в сознании эта веснянка, удаляющаяся вместе с черноголовым поплавком. Как грустно пустое выматывание лесы. И как волнует голову дьявольское нетерпение. Зачем-то привязываю голый крючок, долго смотрю на него — и вдруг осеняет меня: не посадить ли на него бормаша! А холодное байкальское солнце выворотилось из-за горы, пересчитало макушки сосен и повисло над Ангарой — так и обед скоро, так и вечер придет.

Что будет, плыви, мой поплавок. Я просто неудачник, и не мне рыбу ловить в чистой, как слеза, ангарской воде. Я заморгал утомившимися глазами и сразу не мог сообразить, что поплавка моего нет. Я встрепенулся, дернул и, разумеется, впустую. Я срываю измятого бормаша — и вот уж вновь поплавок подходит к заветному месту. Леса натянута, удилище стиснуто в руке. Все искусство ангарской рыбалки в слиянии двух моментов — нырянии поплавка и подсечке. Я бы сказал, не каждый родится с той быстрой нервной реакцией, какая нужна при ловле хариуса. И все-таки я слил эти два мига. Я вел к берегу бьющегося, стукающего о спиннинг хариуса. Я уже рисовал себе картину: иду вечером к бане Деликатного, а за спиной тяжело поскрипывает корзина, полная рыбы. Я потом слышал не один раз, что такие мысли надо глушить в самом зачатке. В тот раз от знаменитого отбойчика я вернулся с единственным хариусом.

Баня Деликатного была клубом рыболовов. В холодную весеннюю пору мало кто рисковал ночевать на берегу.

С Байкала дуют пронизывающие ветры. К счастью, баня в субботу протапливалась. Мы терпеливо дожидались, когда перемоется большая семья обходчика, и спешили занять места. Если лечь поперек полка, войдет полдесятка человек. Пусть слегка висят ноги — во всем другом нельзя найти место удобнее. Четверо лежат на лавках, до того узких, что чуть задремлешь, окажешься на полу. Остальные, подостлав ветки пихты и ели, устроились посреди бани. На полке жарко. Наши «купейники» покрякивают, отдуваются и снимают с себя рубашки. Мало кто уснет до самого утра. Стены гудят от дружного хохота. Тут и горькое, и досадное — все становится смешным.

— Ерков-то! Опять на полке! Простуду старую прогоняет. Хо-хо-хо!

Это вспомнили старую беду Ивана Еркова. Оторвался у него настрой. Ну и пусть уплывает, в сумке есть другой. Но не таков Иван, не попустится он удачливым настроем. Хромой и толстый, километр он бежал за тем настроем, и все-таки пришлось по грудь забредать в ледяную воду. Спасаясь от простуды, Ерков парился с Деликатным, не выходя, и ночевал на том же полке.

— Это, раз рыбачил один хроменький рыбачок, — начинает складывать кто-то анекдот.

Меня теснят дневные впечатления. В темноте я нащупал плечо Худашова.

— Одного все же зацепил, — говорю я ему.

— Одному-то лучше. Быстрей мозги шевелятся. Какая наживка!

— На бормаша, без мушки.

— Гляди ты! — восклицает Алеша. — Надо опробовать, хотя я на мушке отыгрался.

Забыли все анекдотиста.

— Какая! — спросило несколько голосов.

— Оранжевая.

— А подмоточка!

— Белая. Головка волосяная, рыжая.

— А ну, кажи, Худашов, мушку!

Лучи фонариков вырывают из темноты лицо, руки Алеши, и тот роется в лохматой шапке.

— Вот она, дорогуша!

На широкой темной ладони лежит косматенькая букашка. Ее шевелят толстые пальцы.

— Ночь, она ночь и есть, — досадует Ерков. — Вроде есть такая. С червем, Алеха, с козявочкой!

— С короедом.

— О! О! — удивляется сразу несколько голосов.

— Клюет на короеда с вечера до обеда, — пытается сострить анектодист. — А вы знаете, я лавливал на бруснику.

— Погоди-ка ты, брехун, — сердится Ерков и размышляет. — Будешь глядеть на того короеда, не додумаешься.

— Фу, какая жара! И вениками прет, — кричит с полка молодой парень.

— Какая окаянная сила тащит нас сюда! — слышится старческий голос.

Я улыбаюсь, потому что и я подумал об этом. Какая сила гонит нас из тепла, от сухой и свежей постели в эту людскую свалку, где бьет в нос запах пота и портянок! Видно, сама природа мужская повелевает собираться вокруг очагов непокоя, находить самые крайние неудобства, мерзнуть, мокнуть, испытывать опасности и волнения. Кто-то храпит, мне не уснуть. Мучает дьявольское желание обобщать, делить людей на группы, разряды. Я и этих людей готов поделить на индивидуалов и коллективистов, на общительных и молчунов.

Вот Алеша Худашов. Он завтра на берегу соберет вокруг себя людей и будет дарить их поводки и крючки, будет крутить мушки, не для себя, для товарища, бормоча и соображая что-то. Он словно и не рыбачить приехал, а добровольно исполнять обязанность рыбачьего инструктора. Его сумка гуляет по рукам рыболовов. Отыскал парень крючок в ней.

— Я возьму, Алеша!

— Ловкий крючок. Бери, — скажет он да еще крепдешина на мушку отрежет и посоветует ей ножки прижечь. У Алеши все на виду. Мешочек выворочен, и тряпки ярким букетом развалились на камнях. Банки с жилками, крючками и поводками раскрыты, как на толкучке.

— Гони ты их, Худашов, — скажет кто-нибудь. — Ведь и тебе ловить надо.

— Поймается, — говорит он добродушно, полуоткрыв рот, оглядывает горизонт, — от меня она не уйдет.

Иван Ерков — другой человек. Он выскочит из бани ошалело, спешно протрет глаза и, не сказав ни слова, заковыляет по шпалам к заветному месту, подальше от всех. Но вот беда: на его отбойчике уже стоит рыболов. Ерков встанет рядом и широко, по-хозяйски утвердится, так что соседу поневоле уходить надо.

— Ловится?

— И не маячит, — скажет он проходящему рыболову. Если тому вздумается присесть и закурить, то и Ерков присядет или без наживки покидает и со вздохом скажет: «Зашабашила». Уйдет зевака, и затаскает Иван одного хариуса за другим, свято веря в наступившую тишину.

Снасти у Еркова в большом порядке содержатся. Всегда под руками кусочек мыльца, коим он моет каждую мушку. К совету он прислушивается внимательно, сам советовать не любит. Случится подсесть к нему, делающему мушку, он остановится и из-подо лба будет глядеть на тебя долгим выжидательным взглядом. Это без слов требует он удалиться. Ты выдержишь взгляд и спросишь все-таки:

— Клюнет, думаешь, на такую!

— А иди-ка да спроси ее, — закивает он на воду.

Алеша курит после каждого хариуса, с наслаждением, большими глотками, а Еркову в те часы и «курить наплевать», как говорит он сам. На самом деле у него и тут свое мнение: обхватай накуренными пальцами наживку, ни за что не поймаешь.

Алеша вмиг обежит пять-шесть мест. Он с первого заброса увидит, густо ли будет тут клевать. Он и на добром месте не засидится — надоедает.

Ерков знает любимые места и каждому посвящает целый день. Если не ловится рыба, значит, не подошла, и табунок Еркова где-то еще в пути. Он будет ждать и делать мушки на «прок». За привязанность к одному месту прозвали его Якорем.

Алеша свои снасти рассовывает по карманам, и бог знает, зачем сбоку болтается сумка.

У Еркова аккуратный планшетик с прозрачной крышкой, под ней каждый предмет в своем гнезде. Не ройся, не мечись — все под рукой. Спиннинг Алеши из толстого камыша и такой длинный и размашистый, что закинуть может до стрежня.

Иванов спиннинг из алюминиевых трубок, тонок, легок — легче засечь рыбу.

У Алеши наплав из пробки, и он находит в том какое-то соответствие тяжести спиннинга и настроя.

У Ивана поплавок из пенопласта, выточенный на станке и закрашенный так пестро, что можно принять за дятла.

Как отличные рыболовы, они при публике отчаянно спорят. И если спор проходит в бане, Ерков соскакивает с полки, и хоть тьма кромешная, видишь его, махающего руками, пучащего глаза и как-то на сторону сдвигающего рот. Сыплет он каскады слов, не следя за их значением и связью.

Алеша спорит репликами, вопросами и смехом. Спорить смехом он великий мастер. Он то загрохочет, то подхихикнет, то вырвется короткое и многозначительное — ха! Особенно беспощаден его молчаливый смех. Если Алеша в споре вдруг замолчал, то и рисуй его широко открытый рот с прокуренными зубами. Какие-то чуть слышные прерывистые выдохи доносятся тогда из угла бани.

— Ну, хватит, хватит рыдать! — орал Ерков и, сраженный этим смехом, лез на сырой и теплый полок.

Разные они еще в одном.

Объявили запрет — Алеша и глаз на реку не покажет. В то время о рыбалке у него и разговоров никаких нет и хлопот. В свободное от работы время он увлеченно плетет корзины — и тут он мастер превосходный. Потом приедут рыболовы на реку с новыми корзинами замысловатой формы: кувшинчиками, сумочкой, корчажкой, высокие и низкие, с крышками во весь верх и с крышками в полверха. Долго еще будет Алеша засматриваться на корзины, замечать, что хорошего в них, а что следовало бы изменить.

Ерков в запрет с реки, можно сказать, и не уезжает. Он удаляется в курьи и протоки и становится вовсе неприметным. В темноте ставит и морды и корчажки, в темноте и снимает. А если кому и удастся его прихватить и посоветовать, он махнет рукой.

— Ельчишки. Кому они нужны! Барахло.

В заключение можно сказать — они надежные кадры рыболовства. Не в пример тем, кто до зубов вооружится доспехами, а терпения хватит на один день и то до обеда. Знавал я таких любителей. Еще едучи на тендере, рыбачок такой покажет себя тончайшим искусником. А на берегу прежде всего сделает «бороду». Так и не распутав лески, бросит спиннинг на камни и кричит:

— Митька! У те «сучок» или московская?

— Московская!

— Ну так жди. У меня селедка и лук первейший.

Скоро вокруг таких рыболовов собирается шабаш. Кто-то готов бежать на ближайший полустанок и менять на водку спиннинги и рюкзаки, купленные от великих надежд на вечное увлечение.

Нет, Ерков и Худашов — настоящая рыболовская косточка, и от города до Байкала всякий улыбнется при упоминании о них. Отзвенели рельсы в тех местах, приумолкли буйные отбойчики. Широкая морская волна бьет теперь о скалистые берега. Рыболовы наши на пенсии. Рассказывали, что в Ашун-пади есть маленькая земляночка. Там живут до глубокой осени два старика, часто спорят друг с другом, а разъехаться не могут. «Полюбили, говорят, одну, а поделить не можем».

ПЕРЕД ПЕДСОВЕТОМ

Рассказ

Учителя разбрелись по классам, и директор не сразу отыскал Егора Ивановича. Учитель сидел, сгорбившись над классным журналом, и выписывал оценки в ведомости.

— На минуту загляните ко мне, Егор Иванович, — вежливо пригласил Павел Нилыч учителя.

С него, с Ветошкина, начнет директор беседы предварительные, потому что знает: одолеешь его, останется самое легкое, с остальными поладить труда немного надо.

— Давайте-ка заглянем, что у вас по-русскому, — тоном ворковитым и ласковым начал директор.

— Давайте посмотрим, — настороженно ответил учитель и присел к столу.

Павел Нилыч усвоил привычку говорить на беседах непринужденно, даже весело, отвлекаясь к радостным воспоминаниям. Знают о нем — администратор он хороший, о чем не раз слышали все на совещаниях и конференциях. А потому и причин нет срываться, кричать и нервничать. Но всякий раз нелегко удавалось одолеть Ветошкина. Крепкий орешек, этот Ветошкин, такой упорный, что все беседы с ним стали памятны. Искал директор новых слов, новых подступов и не находил, хотя и одолевал. Не в другую какую пору — на этих беседах нелегких запомнил он улыбку Ветошкина, настороженную улыбку превосходства, какая вырабатывается от частого общения с человеком, умело маскирующим зыбкость побуждений. Понимал Павел Нилыч улыбку Ветошкина и еще при первой встрече хотел снять ее с лица учителя, жестко сказав:

— Давайте к вашим оценкам подойдем посерьезнее.

— Нам ничто не мешает сделать это, — ответил Ветошкин и улыбнулся еще значительнее.

Павел Нилыч припустил брови и некоторое время глядел на галстук учителя, глядел тем взглядом, когда видишь и галстук, и кривящиеся в улыбке губы, и лукавые глаза. Тогда еще, три года назад, чуть не сорвался Павел Нилыч, чуть не сказал об улыбке учителя. И хорошо, что не сорвался, вовсе напрасно было бы срываться. Сорвись на Дарье Саввишне — вот тебе ведомость, вот отметки, в вашей воле их переправить, вы директор. Она во всем согласится и только и скажет:

— Меняйте, коли надо для счета.

Дарья Саввишна мягкая, податлива, уступчива, что твой пластилин. И нельзя сказать, чтобы глупа. Нет, ее смех полон иронии. Она в каждом предмете видит веселую, забавно-иносказательную сторону. И язык ее насквозь иронический. Урок она называет «основной формой», ученика «объектом исследования», мел и тряпку «материалом сопутствующим».

— Кто взял мой «основной документ?» — звонко кричит она, и всем ясно, что речь идет о классном журнале. При всем том нет у Павла Нилыча забот о Дарье Саввишне. Все ею уяснено, проверено, утрясено, постигнута мудрость учебного процесса. С ней говори в минуту самой большой усталости — отдохнуть можно. Легкий, веселый, покладистый человек, хоть и бестия добрая. С ней можно было бы и вовсе не беседовать, да хитра очень. Наставит уйму плохих отценок, куда больше чем Ветошкин, зато и охотно идет на уступки, пристальным взглядом изучая директора.

— Ах, стоит ли вам неприятность делать, — скажет Дарья Саввишна. — Ставьте и этому сорванцу тройку.

Так легко Дарья Саввишна соглашается, что сам директор усомнится и скажет:

— Суслову? Да он у меня ничего не смыслит. Не-ет? Тут мы не дрогнем. Тут надо закатить. Как вы, Дарья Саввишна, легко.

— Ну, так и оставьте двойку, — весело скажет учительница, на что не умолчит вовсе разнеженный директор:

— Я вопросик поставлю, Дарья Саввишна. Вопросик. А потом и сориентируемся. Не возражаете?

— Конечно, конечно! — радостно воскликнет учительница и оставит директора в приятном настроении.

Ветошкин совсем не то. Вот он, Ветошкин, сидит перед директором с приготовленной улыбкой и шарит пальцем по открытой странице журнала.

— С чего начнем? — спросит он и так шевельнет губами, будто слижет с них всякие уступки и соглашения.

— С предмета начнем. С предмета, Егор Иванович. О посещаемости поговорим потом.

Павел Нилыч встанет при этом, чтобы подчеркнуть внимание к собеседнику, а сошлется на больные ноги, размять их надо маленько, закурит и скажет будто между прочим:

— Двадцать третья-то школа опять обскакала нас. К ста подобралась. К самому потолку.

— Для парада, значит, готовится, главой колонны стать желает, — скажет Ветошкин, и улыбка его вся в глаза перельется. Они, стареющие, уже не карие, а скорее гнедые, засуетятся под круглыми окулярами, запросят у собеседника понимания и, не дождавшись, застынут в долгом насмешливом недоумении.

Павел Нилыч озабочен в ту минуту формулой разговора. Ведь не заговоришь с Ветошкиным о чести школы, о проценте, главной заботе директора, а Дарья Саввишна, та на слова такие раскинет руки, натурально посочувствует и скажет:

— Ой, печали, ой, заботы на тебе лежат, Павел Нилыч! Ну говори, говори прямо — что надобно!

Так бы ответила учительница, а с Ветошкиным легкого разговора не начнешь.

— Значит, с предмета начнем, Егор Иванович. Наречиями, значит, кончил? Добро. Программу, значит, прошел?

— Прошагал, — ответил Ветошкин, подчеркивая легкость слова директора.

— Теперь, давай, поглядим, что получается. Поименно поглядим.

— Поименно, так поименно, — соглашается Ветошкин и елозит широким, будто раздавленным пальцем по странице. Сзади его, обдувая теплом дыхания, стоит Павел Нилыч.

— Ну, Бревнов, — ладно, — машет он рукой, — ты его пропускай. Тут дело аховое. По всем предметам. Этот явный второгодник. Или... иные соображения есть? — косо глядит Павел Нилыч на бугристую щеку учителя, всю в красных прожилках и редких серебряных волосках.

— Иных нет, — отвечает Ветошкин. Толстый палец его сползает ниже и останавливается против двойки, жирно переделанной из единицы.

— Дятлов! Н-да, тут есть над чем подумать, — говорит директор и склоняется к самому журналу. — Троешник, а по физике четверку я поставил. Подумай, Егор Иванович.

Дятлов — это и есть тот бугорок, перевалив который, все пошло бы легче, но по дороге к двойке стоят два столба и кривая тройка. Дорога эта, строчка эта — сама тоска, сама печаль Ветошкина. Знаки эти шибко выстраданы. Перед глазами встал большеглазый низкорослый парнишка. Запнулся он еще в пятом и кое-как был перетащен в старший класс. Парнишка сам о себе говорит так: «Не могу, Егор Иванович, суффиксы различать. Все они у меня на один манер. Калган, а не голова у меня», — стукает парнишка кулаком по голове.

— Не могу! — говорит и Ветошкин и отваливается на спинку стула. — С кем я после уроков у доски корпел!

— Видел, Егор Иванович, с ним, с Дятловым, — соглашается директор. — Поэтому я и говорю: капля на камне ямку выдалбливает. Не напрасны и ваши старания. Это сейчас вроде бы без толку, вроде пусто кажется. Пройдет месяц—два, гляди, труды-то и оправдались. Запали-таки в голову суффиксы. Это я вам случай один напомню.

Ветошкин вялой рукой снимает очки, и лицо его вдруг меняется: нос вырастает, и в глазах, окруженных густой сеткой морщинок, ложится застенчивость и усталость. Он долго протирает очки и косо в одну сторону вскидывает бровями. Он готов слушать долго директорское отступление.

— Колчина! Колчина-то ты уж, наверное, помнишь, — восторженно начинает директор, довольный рассказом на локальном материале. — Колчин, наш медалист. Ну, вот в шестом классе не мог стервец понять закона сообщающихся сосудов. Щупает, удивляется, а как я не объясню, толку нет. Замучил меня. И ведь так же, как и ты, не соглашался я: «Не переведу!». Перевели, не поглядели на меня. Тогда этой воли больше было. А какой ученик был! Помните!

— То один закон, а тут с грамотностью беда.

—Ну как так! Ну нет, Егор Иванович, это физика ведь. В ней одно за другое цепляется.

— Везде цепляется, — говорит Ветошкин, постукивая по столу очками.

Беседа затягивается. Если так долго говорить с каждым учителем, дня не хватит, а скоро педсовет. К нему надо подготовиться. Павел Нилыч вглядывается в лицо учителя, видит, как цепенеет на нем улыбка, знак воли и непреклонности.

— А вы давно встречались с самим Дятловым! — как-то неожиданно спрашивает директор.

— С самим! — иронически переспрашивает Ветошкин. — Лучше бы спросили, сколько раз я с ним говорил.

— Не-ет. Посещали ли дом ребенка!

Ветошкин смолчал. За последнее полугодие он на дому у Дятлова не был. тяжело ему было посещать дом этот. Дятлов Сергей Петрович, спасибо ему, сам часто бывал в школе. Приходил он, одетый в длинный просторный реглан и белые бурки. Не снимая шапки, он проходил в кабинет директора и, развалясь на стуле, закуривал. В таком виде и заставал его Ветошкин, приглашенный директором для собеседования. Дятлов-отец — большой начальник, самый большой на этой станции. Он важно опирался в стол рукой и чадил папиросой, сидя боком к директору, другим к Ветошкину, и говорил зеркалу, в котором отражался весь.

— Русский человек, и не может усвоить русского языка. Не понимаю. Ведь говорит же он на этом русском языке, — рассуждал он уверенно и громко и пожимал плечами.

Ветошкин разъяснял терпеливо:

— За склонение и спряжение я спокоен, а вот с суффиксами Виктор не справляется. Загляните в его диктанты, пожалуйста.

— Кто же его учит этим суффиксам! — спрашивал Дятлов у зеркала.

— Я, конечно, — улыбался Ветошкин, — но, видимо, один я бессилен. Тут нужен репетитор. Найдите студента, учителя.

— А сами в сторону, — тут только раз и взглянул на Ветошкина начальник. — Расписались в бессилии и в кусты.

— Значит, вы не желаете добра сыну, — сказал на то Ветошкин и вышел. Это был самый последний и самый неприятный разговор с родителем. О нем-то, видимо, и напоминал Павел Нилыч.

— Вот видите, и наша с вами оплошность есть. Мало с родителями связаны,— сказал директор после молчания, во время которого думал о другом. Думал он, какой волевой, какой решительный начальник этот Дятлов и к школе очень внимательный. Потому так запросто и разговаривает он тут, что видит: краска, стекла, да и вся отопительная система — все это он дал, он сделал и впрок всегда обещал: «Для ребятишек разобьюсь, а сделаю». Процент процентом, но и жалко потерять добродетеля, не отшатнулся бы, а как не отшатнется, если сына второгодником объявишь.

— Потом глядите, в такую ответственную четверть и у вас три оценки, — укоряет директор.

—Так ведь и десять могу поставить. Есть у меня на отдельной бумажке. Но оттого хуже еще получится, — оправдывается Ветошкин, но директор не слушает.

— Уверен: если бы спросили, и нужды не было бы ставить двойку. — Павел Нилыч смотрит на часы. — Ну, ладно, за четверть бог с ней с двойкой. За год ставьте переводную.

Ветошкин срывает очки и терпеливо трет их платком. Губы его шевелятся, что-то сказать хотят, оттого же и брови вспархивают. Легкий румянец на старческом лице загулял. Сказать бы прямо — лодырь этот Дятлов-большой. Переведем — тошнее того лодырь будет. Но так вот прямо не может сказать Ветошкин. Знает: работа учительская — не болванки железные ковать. Да и привык Ветошкин за долгую работу себя виноватить, в себе грехи искать. На плечах не пять, не десять — вся сотня детишек, попробуй-ка уследи за каждым, а уследить надо, об этом хорошо помнил Ветошкин. Недоглядел Ветошкин за Дятловым, за добрым десятком учеников. Помнил о них, конечно, заданиями разными индивидуальными пичкал. И на Дятлова карточка особая есть. В ней, как в зеркале, все слабости, а не смог допечь, не стало сил, старость, может, виновата в том. А еще горше перетаскивать ребят этих в высший класс. И так погано, и эдак погано будет на душе.

Раздумья Ветошкина оборвала Дарья Саввишна. Она поспешно вошла в кабинет, будто за какой-то тетрадью. А Ветошкин догадался, Ветошкина не проведешь. Это подмога пришла директору, подкрепление. Так было в прошлом году, так было в прошлую четверть. Сдавался Ветошкин классному руководителю. Они решали «воздействовать» на отстающих. Так этим казенным словом «воздействовать» и ограничивалась Дарья Саввишна, да и где ей. У нее своя армия немалая. У нее свои Дятловы со стажем. Но понимала она, что, география — не русский язык. Дарья Саввишна где и не доучит и поставит двойку, а в перемену спросит его же, Ветошкина:

— Как у вас с Сидоровым! Успевает?

— В этот раз успевает, мошенник, — скажет Ветошкин, и Дарья Саввишна парнишке поставит тройку — зачем лишний шум устраивать на педсовете!

— Вот, Дарья Саввишна, битый час судим о Дятлове и сдвинуться не можем, — обращается к ней директор и по глазам, по решительному жесту и доверительному тону слышится, что только она может конец положить «столбняку», как он ей же, Дарье Саввишне, молчаливо объяснил состояние Ветошкина.

Дарья Саввишна бойко пробегает розовым ногтем по странице журнала.

— Милый, Егор Иванович, — пропела она, — не будьте упрямцем. Сведите в фокус все условия и обстоятельства: семью, здоровье, характер и увлечения, интересы и способности. Вы явно не учли всего. У вас одни голые знания, а что за ними — вы не видите. Милый Егор Иванович! Ведь это все так сложно, все так мудро. Ведь тройка-то последняя. Выходит и дело пошло на исправление. А если учесть и вас, Егор Иванович, то тройка-то эта, ой, ой чего стоит. Уж вы и старое и новое — все спросите.

— Предложение написал грамотно, — вставляет Ветошкин.

— Вот видите. Написал же. Ставьте, ставьте, Егор Иванович.

— Не могу, — выдыхает Ветошкин, вытирая выступивший пот со лба.

Что-то смекнула Дарья Саввишна, по лицу ее пробежала лукавая улыбка.

— Как хотите, как хотите, учитель — главная фигура педпроцесса. Только... Ой; какой вы упрямец!

Ветошкин на миг увидел смущенное лицо Дятлова-сына. Вспомнил неодолимое желание дать ему еще предложение, но прозвенел звонок. Дай Ветошкину пять минут еще, может, и не было бы этого длинного разговора.

Ушла Дарья Саввишна, и в кабинет шумно вбежала Шурочка, блеснув хорошо проглаженным красным галстуком. Ей нужен список пионеров, с которыми она едет в цирк, но почему-то тотчас забывает о списке. Пухлыми губами шепчет она, пробегая взглядом по столбику цифр.

— Двойка! Витечке Дятлову двойка! — разгибается она, вконец пораженная. — Я удивлена, Егор Иванович. Такой умница. И стихи пишет. Кто в классе стенгазету оформляет! Витечка. Он жуткий карикатурист. В драмкружке кому главную роль! Витечке. Ужас! Ужас! Как обойдется класс без него! Дорогой Егор Иванович! Да вы оставьте его сегодня, погоняйте по правилам.

— Ведь верная идея-то, — подхватил директор, бросая на рычаг телефонную трубку.

— Спросить! — вдруг заколебался Ветошкин, — спросить можно, только...

— Ну, я знаю вас, Егор Иванович, тот раз навалились на Гошкина и гоняете его, выворачиваете его наизнанку. Вы спросите, не наваливаясь, — советует Шурочка и заглядывает в уставшие и вконец смущенные глаза учителя.

— Ну, так порешили! — спрашивает директор, он тоже устал и, отдыхая, рассматривает картинки учебника.

— Спрошу, — говорит Ветошкин и подергивает плечами, будто ему стало прохладно.

— Спросите-ка, а как считать его!

— Да уж считайте, коли для счету, — махнул рукой Ветошкин.

— Опять за то же, — мягко сердится директор и бросает карандаш на стол, — тебя никто не приневоливает, тебе лишь советуют, объясняют.

— Ладно уж, ладно, — супит брови Ветошкин и приглаживает редкие волосы, они не приглаживаются. Седые пряди спутались, упав на ершистые виски и сделав голову уродливо-широкой. Ветошкин испытывает стыд и неловкость, словно что-то проиграл он сейчас, и не видит, как директор доглядывает список до конца.

Он думает о том, как отдохнет после экзаменов недельку и в дом отдыха не поедет. Он придет сюда в пустую летнюю школу, как приходил и год и три года назад и будет учить русскому языку Дятлова, Иванова, Егорова. Он уже видит себя идущим в школу. В прохладном классе ждет его Дятлов, милый шустрый парнишка. Держит парнишка мел в руках, а сам на улицу поглядывает, на кусты зеленые, на небо синее, и делает в каждом слове по ошибке.

— Ладно. Чему-нибудь да научу, — говорит Ветошкин и глубоко вздыхает.

— Вы о чем это! — весело спрашивает его директор.

— Да так, соображаю все.

— Идите, идите, насоображались. По вашему предмету получится приличная успеваемость. Приличная.

И не глядит директор на Ветошкина, не видит его измученной и виноватой улыбки. С ней теперь сидеть ему три часа на педсовете, с ней и домой прийти.

С. ФОМИН

Неутомимый

Рассказ

Геологическая партия, в которую я был зачислен рабочим, еще только формировалась. Всего в ее составе должно было быть тридцать человек, а пока насчитывалось только пять. Это был начальник партии Андрей Алексеевич Кремнев, главный геолог Руднев, шофер Саша Семешко, завхоз Валя Пех и я.

Завхозу так же, как и нам с Сашей, идти с геологами предстояло впервые, но он называл себя не иначе, как заместителем начальника партии по хозяйственной части, и старался казаться этаким бывалым геологом.

Прежде всего он заявил нам, что с прошедшего понедельника начал отпускать себе бороду. «Мне известно, — говорил он, — что бородой нужно переболеть, как в детстве корью. Вырастет, сфотографируешься, потом надоест, побреешься и тогда уже все время будешь бриться. Вон Кремнев, Руднев тоже когда-то с бородами ходили, а теперь, говорят, и в тайге бреются ежедневно. Вот и я решил побыстрее «переболеть» и навсегда отделаться от этой «болезни».

Я посмотрел на Пеха. У него были розовые, пухлые, прямо девичьи щеки, на которых местами пробивался белый пушок. Несмотря на столь юный вид, Валя Пех уже отслужил в армии. В армии он был писарем ПФС в стрелковом полку и поэтому называл теперь себя интендантом.

— Знаешь, — говорил он мне, — почему я пошел заместителем начальника партии по хозяйственной части! Да потому, что дело знакомое. Ведь я интендант, и должность эта тоже интендантская. По моей меню-раскладке целый полк питался, а команду в тридцать человек я буду кормить, как на курорте, да еще такой комфорт создам, какого ни в одной партии не видели!

Начальник партии наделил своего заместителя по хозяйственной части многими полномочиями, деньгами и надавал ему массу всевозможных заданий. В помощь Пеху были выделены я и Саша Семешко со своим ГАЗ-63. Семешко очень почтительно относился к завхозу, называя его не иначе, как Валентином Ивановичем.

Мы целыми днями носились по городу. Бывали на складах, в магазинах, в различных учреждениях. И везде Пех что-то получал, что-то покупал, что-то утрясал и согласовывал.

Первым местом дислокации нашей партии было село Бургень, откуда и должны были начаться работы. И вот, наконец, нагрузив свою машину до отказа продовольствием, постельными принадлежностями и «предметами комфорта», как выражался Пех, мы приехали в Бургень.

Пех поистине горел на своей работе и обладал удивительной способностью передавать это «горение» людям, порой совсем не причастных к его делу. В Бургене он быстро познакомился с председателем сельсовета, переговорил с председателем колхоза, кого-то убедил, кому-то доказал, в результате не прошло и полчаса, а мы уже разгружали нашу машину у длинного бревенчатого дома. В доме было четыре комнаты. Две смежные Пех предназначил для складов, заявив, что продовольственный склад будет одновременно и кабинетом заместителя начальника партии по хозяйственной части. Вскоре из колхозной конторы были привезены стол и четыре табуретки. Мы развернули раскладушки, поставили на стол керосиновую лампу, и дом приобрел жилой вид.

В деревне у Пеха нашлось дел по горло: он весь день бегал, заручался какими-то сведениями у местных жителей, предварительно договорился о закупке овощей для партии, писал проект договора о взятии в аренду лошадей. Нашу машину он выделил на два дня «в помощь подшефному колхозу». Я бродил по деревне, скучал, хотелось настоящего дела.

Так прошла неделя. За это время к нам два раза приезжал начальник партии. По всему было видно, что он доволен деятельностью своего передового отряда. Прощаясь, он так и сказал нам: «Молодцы, ребята! Дней через пяток встречайте, все приедем». От его похвалы Пех был «на седьмом небе». Все мы были довольны тем, что скучать нам осталось недолго: вот приедут все, и тогда начнется интересная, содержательная жизнь.

Вечерами Пех подолгу просиживал за столом и что-то писал. А однажды он показал мне свои стихи. Они так и назывались: «Геологические». Я начал было читать, но Пех вдруг вырвал у меня листки, принял позу и стал читать вслух. Читал он хорошо.

Я знаю, что земля таит,
ведь я геолог.
И путь далек мне предстоит,
далек и долог.
Перед тайгой я не спешу
встать на колени,
в тайге я подвиг совершу
для поколений!
Я прячу в черной бороде
улыбок кучу.

Сто верст пройду я по воде,
взойду на кручу.
Я направленье укажу
таежной трассе.
Я новый город заложу
и на Парнасе!
Я в глубь столетий загляну,
сорвав с них полог.
Я загляну и на Луну,
ведь я геолог!

— Ну как! — спросил Валя, — Мне кажется, не очень вызывающе!

— В общем неплохо, — сказал я, — но «подвиг для поколений», «черная борода», «сто верст по воде» и «город на Парнасе», — очень уж как-то громко.

— Это просто для рифмы, — говорит Пех.

— Ну, а «взойду на кручу», «загляну в глубь столетий», «укажу направление» и , наконец, «загляну на Луну» — это для чего!

— Это тоже идея рифмы, — говорит он, — а вот все остальное — мои подлинные чувства.

— Ну, если так, тогда пойдет, — говорю я.

Как-то Пех целый день не заглядывал на нашу базу, а вечером ворвался ураганом и, не дав нам опомниться, заговорил:

— У меня есть блестящая идея, ее осуществление зависит от всех нас, троих! Я вам не говорил еще, что нам дали разрешение на отстрел двух лосей для нужд экспедиции. Вот я и решил одного забить, то бишь убить, вернее, добыть до приезда наших и встретить их прекрасным обедом. Меню-раскладку я составлю сам. На первое будет борщ украинский, на второе — эскалоп по-гамбургски.

— А как это по-гамбургски! — поинтересовался Саша.

— Очень сложное блюдо. Особенно гарнир, — говорит Пех, — ну, а по-русски, это просто — лось на сковородке. Пусть все знают, что заместитель начальника партии по хозяйственной части и его помощники не сидели сложа руки!

Идея нам с Сашей понравилась. Забивать лося все-таки интересней, чем сидеть сложа руки. Мы сказали об этом Пеху.

— Я не сомневался в том, что вы меня поддержите, — заявил он, — мой опыт работы с людьми подсказал мне, что вы ребята хорошие, а раз так, то начнем подготовку. Выезд назначаю на завтра в одиннадцать ноль-ноль!

— Подготовка началась. Саша был отправлен в сельпо за керосином. Мне было приказано чистить три карабина. Сам Валентин Иванович убежал в правление колхоза просить лошадь, и, кроме того, ему нужно было «проконсультироваться с местными охотниками».

Вечером, когда мы уже лежали на раскладушках, Валентин Иванович давал нам последние указания:

— Нам нужно взять на эту охоту не только продукты и интендантское имущество, — говорил он, — но и некоторые предметы комфорта. Сюда я отношу раскладушки, складной столик, керосиновую лампу, радиоприемник и кое-какую охотничью литературу.

Мы с Сашей подали свои голоса против радиоприемника и литературы, Пех вычеркнул их из списка, затем продолжал:

— С нами пойдет вьюжная лошадь, я уже видел ее. Лошадь зовут Гнедко, но я дал ей другую кличку, теперь она будет Неутомимым. Если Неутомимый оправдает себя в этом походе, то мы возьмем его с собой в партию, а пока нам его дали только на три дня.

Утром я проснулся рано, и то, что увидел, страшно удивило меня: за столом сидел Пех и... брился!

— Валя, а как же корь и борода! — спросил я.

— Видишь ли, — говорит он, — современная медицина располагает всевозможными вакцинами и сыворотками, так что корью болеть не обязательно, да и борода-то у меня (я буду самокритичен) растет какими-то отвратительными клочками.

Возразить ему я ничего не мог.

К одиннадцати часам все было готово. У крыльца стоял бывший Гнедко, а теперь Неутомимый, на его спине было деревянное вьючное седло, на которое мы навешали интендантское имущество и некоторые «принадлежности комфорта». Пех подсчитал, что вес вьюка семьдесят килограммов, это была норма. Наши рюкзаки были заполнены продуктами. На ремнях у нас висели патронташи, за спинами — карабины. Валентин Иванович сказал, что нам предстоит пройти четырнадцать километров, все время придерживаясь телеграфной линии, а когда начнутся ерники, свернуть влево, в падь, и дойти до болота. Там, на опушке, и «сидеть на лося». Все эти сведения он получил «на консультации у местных охотников».

Ровно в одиннадцать мы тронулись в путь. Шествие возглавлял заместитель начальника партии по хозяйственной части, за ним следовал Неутомимый, далее Саша Семешко, замыкающим был я.

— Сейчас пройдем елань, — говорил Пех, заглядывая в записную книжку, — потом колок, спустимся в ключ, потом столбы пойдут через гору, а мы по ерникам свернем в падь.

Не знаю, прошли мы «елань» и «колок» или нет, но случилось непредвиденное: Неутомимый лег и отказался вставать! Попытки поднять его, дергая за повод, ни к чему не привели.

— Пусть он немного отдохнет, — решил Пех.

Мы развьючили Неутомимого, он нас понял и встал на ноги. Мы жевали бутерброды, которые Валентин Иванович достал из своего рюкзака, а Неутомимый ходил вокруг нас и срывал мягкими губами сердцевинки давно осыпавшихся ромашек. Просидев полтора часа, мы попытались снова завьючить Неутомимого, но как только раскладушки повисли на его боках, он лег и поднялся только тогда, когда с него было снято седло, дав нам понять, что дальше идти не собирается.

Геологам приходится бывать и в худших ситуациях, поэтому мы особенно не унывали. Саша Семешко подошел к телеграфному столбу и громко объявил:

— Порядковый номер 112, ровно семь километров мы отошли от деревни!

И тут заместитель начальника партии по хозяйственной части принял решение: дальше не ходить, расположиться прямо здесь и, поскольку лоси начинаются только с четырнадцатого километра, сегодня же убить козла, а завтра возвратиться на базу.

Мы быстро натянули палатку, сложили в нее все наше имущество, развернули раскладушки, поставили разборный столик, заправили керосином лампу и два примуса. Саша остался готовить обед из говяжьей тушенки, а мы с Пехом отправились на обследование местности вокруг лагеря.

Мы отошли не более двухсот метров, как обнаружили большую поляну, совершенно круглой формы, окаймленную густыми зарослями кустарника. Во многих местах от поляны отходили тропинки, на которых Пех сейчас же обнаружил следы парнокопытных.

— Мне известно, — сказал он, — что днем козы прячутся в чаще леса, а ночью предпочитают выходить на открытые места. Это как раз то место, куда они предпочитают выходить. Значит, сегодня мы обязательно убьем козла. А сейчас пойдем в палатку и обсудим, как это лучше сделать.

За обедом был выработан план ночной операции, а потом, растянувшись на раскладушках, мы беседовали на разные вольные темы. Между прочим, Валентин Иванович говорил:

— Настоящая романтика без соответствующего комфорта не существует. Посудите сами: собираясь на эту охоту, мы могли пойти по пути уменьшения веса наших вьюков и рюкзаков, взять, например, не эту восьмиместную, а маленькую четырехместную палатку, а также отказаться от всех предметов комфорта. Конечно, нам было бы очень легко идти, зато пришлось бы ютиться в тесной палатке, ощущать под ребрами сосновые корни и не очень твердо верить в то, что охота — это удовольствие, романтика и прекрасный отдых. Другое дело теперь! Мы лежим на мягких раскладушках, в палатке стоит стол, на столе лампа, приятно гудят примуса, вокруг палатки ходит Неутомимый и рвет траву. Между прочим, как мне сказали, Неутомимый хорош тем, что он далеко от лагеря не отходит; он боится волков, — да и вообще далеко ходить не любит. В последнем, мне кажется, мы убедились. Так вот, такая обстановка благотворно действует на нервы, повышает жизненный тонус человека, под гудение примусов хочется петь и читать стихи. Вот, например, как хорошо звучат здесь мои «Геологические»:

Перед тайгой я не спешу
встать на колени.
В тайге я подвиг совершу
для поколений!

Шум примусов и чтение «Геологических» благотворно подействовали на Сашу: он стал тихо похрапывать.

Решено было сидеть на поляне всю ночь, сменяться через каждые два часа. Сидеть первым изъявил желание Валентин Иванович. В восемь часов было уже совсем темно. Пех зарядил карабин и, освещая путь фонариком, пошел заступать на пост.

Через час взошла полная луна, бледный свет ее делал тайгу еще более мрачной, таинственной. Мы с Сашей вспоминали охотничьи истории, слышанные в разное время от разных людей. Луна скрылась за тучкой; пошел мелкий сухой снежок.

Прошло два часа. Вернулся Пех. Он отметил, что дикие козы, как и все животные, очень чутки к перемене погоды и что перед дождем или снегом они больше лежат, чем пасутся. Но снег перестает, и надежда на то, что мы убьем гурана, все-таки есть.

Однако, надежда не оправдалась: просидел два часа на поляне я, просидел Саша, а гуран так и не появился.

Снова наступила очередь Пеха. Уходя, он попросил меня поискать Неутомимого, который обязательно стоит где-то за ближайшими кустами.

Я вышел из палатки. Снег прекратился. В разрывах облаков робко подмигивали звезды. Ветки сосен, кустарник, земля, все вокруг было покрыто тонким белым покрывалом и на этом белом ясно отпечатались следы конских копыт. След вел от кустов в сторону тропинки, по которой мы пришли. Я пробежал по ней полсотни метров и убедился в том, что Неутомимый ушел, ушел в деревню, предоставив нам самим управляться с поклажей.

Выслушав это неприятное известие, Пех оставался спокойным.

— Ну что же, — сказал он, — Неутомимый не оправдал моего доверия. Ему возвращается кличка Гнедко. В партию с собой я его не возьму. Но виноваты и мы. На ночь лошадей положено путать. И он даже прав, что ушел. А теперь подведем итог нашего похода. Первое: охота не удалась. Это я связываю с неустойчивой погодой. Гурану дана отсрочка, пусть еще погуляет. Меню-раскладку придется пересмотреть. Эскалоп по-гамбургски будет заменен свиной тушенкой. Второе: Гнедко ушел. Вьюки остались. Седло — тоже. Нам надо решить главную задачу: как правильно распределить и свою и конскую ношу. Я предлагаю так...

Утром, сгибаясь под тяжестью вьюков, мы тронулись в обратный путь. И на этот раз шествие возглавлял заместитель начальника партии по хозяйственной части, вьюк его был таким же большим, как и наши, но в дополнение к этому, на его голове, напоминая шляпу Бонапарта, покачивалось вьючное седло.

Шел он бодро и даже насвистывал мелодию какой-то песенки. Я замедлил шаг, а когда Саша догнал меня, показал на Пеха:

— Неутомимый!

Саша широко улыбнулся и согласно закивал головой.

Г. АЗАРОВ

СИБИРСКИЙ ФАРФОР

От автора

Юбилей, наверное, не столько праздник, сколько знаменательный жизненный рубеж, перевал, с вершины которого хорошо просматривается прошлое, настоящее и будущее.

Проще подводить юбилейные итоги и размышлять о предстоящих делах, когда торжество круглой даты касается одной человеческой жизни — трудовой путь человека, как бы долог он не был, проследить все же не очень трудно. Значительно сложнее рассказать о трудовом пути целого коллектива, такого, например, как нашего Хайтинского фарфорового завода, да еще за целый век.

Да, хайтинцы отмечают ныне столетие верной своей службы такому прекрасному, трудному делу, как искусство создания фарфора. Представим ненадолго некую белоснежную, тонко-прозрачную фарфоровую вазу, как обобщенный символ наших изделий, представим, сколько изощренного мастерства, пота, душевного таланта вложено в нее за вековую историю — представим все это и попытаемся, хотя бы бегло, остановиться на важнейших вехах ее создания.

Этот краткий очерк и есть скромная попытка проследить, как возникала, приумножалась и приумножается славная известность сибирского фарфора.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

В начале прошлого века, в 1809 году, купец Полевой построил первую в Иркутской губернии фаянсовую фабрику. Но четыре года спустя, разорившись, продал ее иркутскому же купцу третьей гильдии Я. Солдатову, ставшему тогда же и владельцем Тальцинской стекольной фабрики. Солдатов, мечтая разбогатеть на новом деле, просит у правительства монопольного права на производство фаянсовых изделий в Сибири:

«...и, полагая общую пользу от делания в Сибири фаянсовой посуды, желает оную распространить и довести выделываемую фаянсовую посуду, посредством открытия им изящных новых составов, до такой степени совершенства, что она будет превосходить добротою и чистотою привозимую сюда (в Восточную Сибирь), выделываемую на киевской фабрике, и тем, сверх удовлетворения потребностям Сибирской губернии, сделать даже статью торговли с китайцами...».

В монополии ему было отказано.

Фабрика влачила жалкое существование и сколько-нибудь заметного следа в истории сибирского фарфора не оставила.

Вторую попытку стать фаянсовым фабрикантом сделал П. П. Сыропятов, купец первой гильдии. На берегу Ушаковки, в полутора верстах от Знаменского предместья, он строит в 1862 году фаянсовую фабрику, которая выпускает чайную и столовую посуду очень грубой и небрежной разрисовки.

Но фабриканта из Сыропятова тоже не вышло. Через пять лет, преследуемый кредиторами, он отдает фабрику за долги братьям Переваловым, поставщикам глины.

Даниил и Филипп Переваловы были крестьянами из села Узкий Луг и, помимо хлебопашества, занимались извозом, добычей и сбытом огнеупорной глины. Занимались они этим делом прибыльно, а потом сами решили производить гончарные изделия: красный и огнеупорный кирпич, фаянс, стекло, хрусталь и фарфор, — и в 1866—1867 годах строят на реке Хайте корпуса и горны для этого производства и перевозят сюда же оборудование Сыропятовской фабрики. Братья не случайно выбрали место для строительства фабрики на реке Хайте. Здесь рядом было топливо и, главное, прекрасный узколугский каолин, который геологи прошлого века сравнивали с лучшими бельгийскими глинами, залегающими в горном известняке в окрестностях Андена близ Намюра. Например, образцы узколугского каолина испытывались в 1870 году столичными фабриками и образцы эти оказались совершеннейшими. Изделия из них выходили чрезвычайной белизны, чистоты и нежности.

И вот в 1869 году учреждается фирма: «Фарфоро-фаянсовые фабрики торгового дома Переваловых». С этого времени и ведет свое летоисчисление наш завод. Из всей династии Переваловых, конечно, больше всех сделал для развития фарфорового производства Иван Перевалов, сын Даниила. Он расширял, надстраивал фабрику, приобретал машины, подбирал и привозил из разных мест специалистов.

Изделия переваловской фабрики приобретают добрую славу чуть ли не со дня ее основания. Так, уже в октябре 1869 года братья получают похвальные листы на второй Иркутской губернской выставке за фарфор и огнеупорный кирпич.

Хайтинскому фарфору по просвечиваемости черепка не было равных в Сибири. Кроме того, современники отмечали, что изделия Хайтинской фабрики доступны по своей дешевизне даже крестьянскому населению.

Славился на всю Сибирь и хайтинский огнеупорный кирпич. Заказы на него поступали из Иркутска, с Николаевского и Петровского железоделательных заводов, Брянского и Нижнеудинского цементных заводов.

Переваловы умели торговать: они имели торговые места по всей Сибири. Даже на «толкучке» в Иркутске была лавка, где продавались мука, гончарные, стеклянные и фарфоровые изделия.

В 1874 году в Иркутске братья открывают магазин, участвуют на всех сибирских ярмарках: Преображенской, Балахтинской, Ужурской, Качугской, Якутской, Ачинской, Минусинской, Верхнеудинской и даже на Ирбитской, на которые завозились сибирские стаканы, блюдца, азиатские чашки, миски. Торговля всегда шла бойко. Двадцать продавцов хайтинского фарфора и фаянса выручали до восьмидесяти тысяч рублей.

Когда провели железную дорогу, началась борьба за западносибирские рынки между фабрикантами Кузнецовым и Переваловым. Фарфоро-фаянсовые изделия европейской России и Сибири конкурировали по ассортименту, дешевизне и качеству.

Хайтинская фабрика сумела не только выдержать конкуренцию, но и сохранила основные рынки сбыта.

В конце прошлого и начале нынешнего века Хайтинская фабрика выпускала всевозможные фарфоро-фаянсовые изделия: посуду почти пятидесяти наименований, телеграфные изоляторы, медико-санитарные приборы, кафельную плитку. Выполнялись и частные заказы. Была даже выделана лира с лебедями для иркутского драмтеатра.

Уже в 1880 года фабрика известна замечательным музеем фарфора и фаянса. В нем широко экспонировались и местные изделия, соперничающие с лучшими образцами фарфоровых фабрик России, и заграничные. Ныне часть изделий, находившихся в музее фабрики, хранится в фондах Иркутского художественного музея.

Хайтинский фарфор успешно экспонировался на сибирских, всероссийских и заграничных выставках и не раз за хорошее качество бывал отмечен медалями. В 1873 году на иркутской выставке Переваловы получили большую серебряную медаль «За полезное», в 1887 году в Екатеринбурге они награждены серебряной медалью «За трудолюбие и искусство», а на Нижегородской выставке в 1896 году — серебряной медалью «За хорошее качество изделий при значительных для Сибири размерах производства». Золотые медали получил хайтинский фарфор в Антверпене в 1906 году и в Омске в 1911.

Все эти награды, медали, подтверждающие широкую известность хайтинского фарфора, конечно же, были получены благодаря трудолюбию и таланту русских мастеровых. Еще в 1866 году из Гжели, что в Московской губернии, из этой колыбели мастеров фарфора в России Филипп Перевалов приглашает отменных специалистов — Василия Терентьевича Барабанова и Петра Семеновича Еремина — гончаров-точильщиков. Они-то и начали вместе с украинцем Яковом Афанасьевичем Зубреевым создавать фаянс и фарфор на фабрике Переваловых.

Позднее с Дулевского фарфорового завода приезжает семья точильщиков и трое расписчиков по фарфору. И тогда на фабрике вводится разделение труда, улучшившее качество и повысившее количество изделий.

После каторги на Иркутском сользаводе поступают на работу горновщиками и муфельщиками ссыльнопоселенцы Гаркины, Красильников, Любаевы, Шугаевы и другие.

В то же время появляется на фабрике и большая группа ссыльнопоселенцев — поляков, участников польского восстания 1863 года — М. Н. Листопадский, А. А. Корзун, Ф. Ф. Войцеховский, Л. Конопко, А. К. Шийковский, Л. П. Белецкий, А. В. Маковский, К. Сиверский.

Одним словом, талант рабочих принес известность хайтинскому фарфору и фаянсу.

Особого мастерства и опыта требовало составление фарфоровой массы. Первым ее составителем был итальянец. А с 1883 по 1888 год массу составлял Д. Н. Рождественский, бывший хозяин Еловской фарфоровой фабрики, приглашенный И. Д. Переваловым на должность управляющего.

Главным фарфоровым мастером в 1889 году стал Георгий Трофимович Кислов, родом из Владимирской губернии. Он был универсалом: компоновал фаянсовую, фарфоровую и шамотные массы, умел отформовать любое изделие, составлял глазурь, определял на глаз конец обжига в горнах, составлял керамические краски. Все это Кислов держал в строгом секрете. Ему удалось взять судьбу фабрики в свои руки, и он, будучи властолюбивым и имея отвратительный характер, измывался над рабочими как только мог.

В случае брака он штрафовал на месте, разбивал при этом бракованное изделие палкой. Отформованный чайник Кислов проверял так: привязывал к его носику нитку и наблюдал, чтобы изделие висело в строго вертикальном положении. Если видел, что рабочий неправильно формует, вставал к станку и сам формовал, приговаривая: «Вот как, чай-бай, формовать-то надо». После сам стоял и смотрел. Если формовка шла правильно, то молча отходил, если неправильно, то обзывал рабочего «дураком и дубиной». Под началом Кислова ходили такие одаренные мастера — формовщики по фарфору — как Анатолий Тайтус, Иван Халтурин, Семен Виноградов.

Первую художественную роспись на хайтинский фарфор наносил выписанный с императорского фарфорового завода художник Тимофей Степанович Макаров. Затем пригласили еще одного художника, московского мещанина Федора Ильича Неворотова; он расписывал дорогостоящие вазы, сервизы, иконостасы и другие изделия, принесшие известность хайтинскому фарфору. На могиле Неворотова до сих пор сохранилась плита, положенная рабочими в память о славном мастере.

Долгое время на фабрике работал замечательный скульптор Андрей Тимофеевич Борисов, создавший, например в Чите скульптурные фигуры на фасадах пассажа Второва и на доме золотопромышленника Шумова.

Незадолго до смерти Борисов вылепил на память семье своей бюст, который, к сожалению, найти не удалось. На могиле его лежит плита, на которой выбито: «...Борисов Андрей Тимофеевич, славный скульптор фабрики...».

Но талантливые мастера вынуждены были работать в каторжных условиях, получая за свое тонкое, искусное ремесло гроши. Еще в 1890 году газета «Сибирский вестник» писала:

«...Для холостых нет на заводе казармы, и они должны валяться в глазурной — в пыли и грязи, или в старой фаянсовой токарной, носящей название «богадельни», у которой стены прогнили, полов нет, а окна заложены кирпичами. И в таком-то помещении рабочий должен искать себе отдыха после четырнадцатичасового тяжелого рабочего дня».

Фарфоровые изделия точили из сухой массы, что было выгодно для фабриканта — мало расходовалось массы, а рабочий-токарь, покрываясь слоем пыли, быстро заболевал.

Про токарей говорили: «Токарь чашку точит, а чахотка его пылью гложет!», «Токарь чашку купцу сдает, чахотка токаря на погост ведет!».

Вот что вспоминает старейший хайтинец Юлиан Фомич Коминский: «...Условия работы у нас, мальчиков, были ужасны. Я не мог привыкнуть к фарфоровой пыли, и меня иногда на руках выносили из цеха во двор фабрики отдышаться. В результате мой организм сдал, и я проболел два месяца. Больницы на фабрике не было. После выздоровления я вновь пошел работать в токарный цех, условия работы не улучшались. Мы работали, как взрослые, по четырнадцать часов в сутки».

Ужасно было положение женщин. Старейшая работница расписного цеха рассказывает:

«...В то время отпуска не оплачивались. Были случаи, когда работницы рожали на рабочих местах. Так было с моей мамой Барсуковой Маврой Васильевной».

Женщины работали в расписном цехе, который освещался семилинейными лампами, естественного света не хватало. «...Нам, расписчицам, часто приходилось вечеровать при лампах, вдыхая запах скипидара, которым мы разводили краски», — вспоминает пенсионерка Таисья Тимофеевна Халтурина.

Каторжный, изнурительный труд. Почти невозможно представить этот ежедневный

ный ад. «...При высокой температуре, совершенно голые, глиномялы ногами проминали глину в длинных ларях. От постоянной работы в сырой глине подошвы рабочих были стерты, а поэтому перед началом промина глиномял опускал ноги для «заваривания» в кипяток и под собственное улюлюкание, гик, мат и смех окружающих остервенело топтал глину, обливаясь потом, после чего пил холодную воду, валился с ног, мгновенно засыпая. Босяки-глиномялы имели единственные опорки и старую дырявую накидку, в которой поочередно выскакивали на мороз по надобности», — вспоминает старый формовщик пенсионер Г. А. Храмков.

И копилось, зрело возмущение рабочих, готовились они к борьбе против фабрикантов и самодержавия.

Светлую память хранят хайтинцы о первых вожаках революционного движения на нашем заводе.

Вениамин Семенович Степанов. Это имя мы никогда не забудем. Студент медицинского факультета Томского университета, исключенный за революционную деятельность, Степанов был сослан в Иркутскую губернию.

В пятом году Иркутский комитет РСДРП направляет его на Хайтинскую фабрику, где Вениамин Семенович устраивается фельдшером. И, подружившись с местным учителем Константином Семеновичем Владимирцевым, он ведет революционную агитацию в рабочем поселке и окрестных селах. В октябре пятого года почти ежедневно проводят собрания в сельском клубе. Там читали и изучали нелегальную социал-демократическую литературу, там объединялись рабочие, мастеровые и служащие в единый союз, который и был оформлен в конце октября. Владимирцева избрали председателем, а Степанова — секретарем нового профсоюза. Выражая волю рабочих, они потребовали восьмичасового рабочего дня, увеличения заработной платы, прекращения или уменьшения штрафов, улучшения медицинской помощи, отказа от увольнения рабочих без согласия профсоюза, снижения цен на продукты в хозяйственном магазине и т. д.

Компаньоны и управляющий фабрикой сначала и не думали удовлетворять эти требования. Они ждали, что выступления рабочих затихнут. Но напрасно. Десятидневная забастовка окончилась успешно: фабриканты установили девятичасовой рабочий день, увеличили на тридцать процентов заработную плату, открыли рабочий клуб.

В помощь профсоюзной организации Иркутский комитет РСДРП направляет Валериана Каретникова, который останавливается на квартире В. С. Степанова. Часто приезжает с партийной литературой слесарь Иннокентьевского депо В. Сапожников.

Сельский писарь донес о революционерах. Начальник губернского жандармского управления вместе с иркутским уездным исправником приказали приставу 1 стана Иркутского уезда отправиться с четырнадцатью чинами полиции на фабрику. 24 января 1906 года там произвели обыск. У рабочих-активистов были найдены воззвания, брошюры, прокламации. Особенно много (пятьсот сорок три экземпляра) изъяли у токаря Анучина. После обыска арстовали и Владимирцева и Степанова. В. Каретникову удалось скрыться, о чем крайне сожалел пристав, сообщая в жандармское управление о результатах обыска и арестов.

После ареста руководителей профсоюзной организации фабриканты вновь увеличили рабочий день до одиннадцати часов, снизили заработную плату. Детище рабочих — клуб — сломали. Накопленные рабочими книги, мебель, граммофон — растащили хозяйские подпевалы.

Администрация фабрики начала преследовать семьи арестованных. Так, в мае 1906 года она уволила отца Владимирцева, шлифовщика Семена Васильевича.

Фарфористы встали на защиту старого рабочего, требуя оставить его на работе. Фабриканты медлили, тогда 29 мая началась десятидневная забастовка.

И администрация не только вернула на фабрику С. В. Владимирцева, но и просила освободить организатора профсоюза К. С. Владимирцева.

В. С. Степанову в июле тоже удалось освободиться из-под ареста, и он нелегально жил в Иркутске. Полиция объявила его розыск...

Революция отступила.

В 1910—1915 годах в Мишелевке появляются политические ссыльные. Затем революционные настроения стали привозить демобилизованные фронтовики.

И снова надвигалась революция.

МАСТЕРА И РЕМЕСЛО

Трудно писать о людях, об умельцах, мастерах, искусниках, чьими стараниями добывалась слава хайтинскому фарфору.

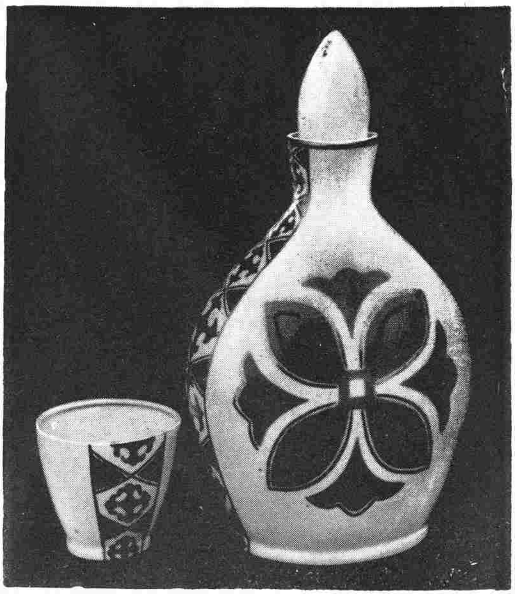
И трудно вот почему: наше напористое, быстротекущее время, до отказа забитое производственными заботами, выработало весьма удобные в обиходе, но сухие и серые формулы для обозначения живых и порой запутанных отношений между людьми на производстве — «дельный работник», «хороший специалист», «руководитель должен хорошо знать подчиненных», «голым администрированием ничего не добьешься» и так далее и тому подобное — все равно, что какой-нибудь искусный орнамент попытаться описать словами.

Но в рабочие будни так или иначе оказываешься в плену обиходных, обкатанных формул и говоришь: «Этот — хороший работник, всю жизнь отдал заводу», «тот прекрасный фарфорист», еще кто-то — «ценный, добросовестный, работящий» — вроде бы и богатый набор определений, а человеческого лица за ними не видно.

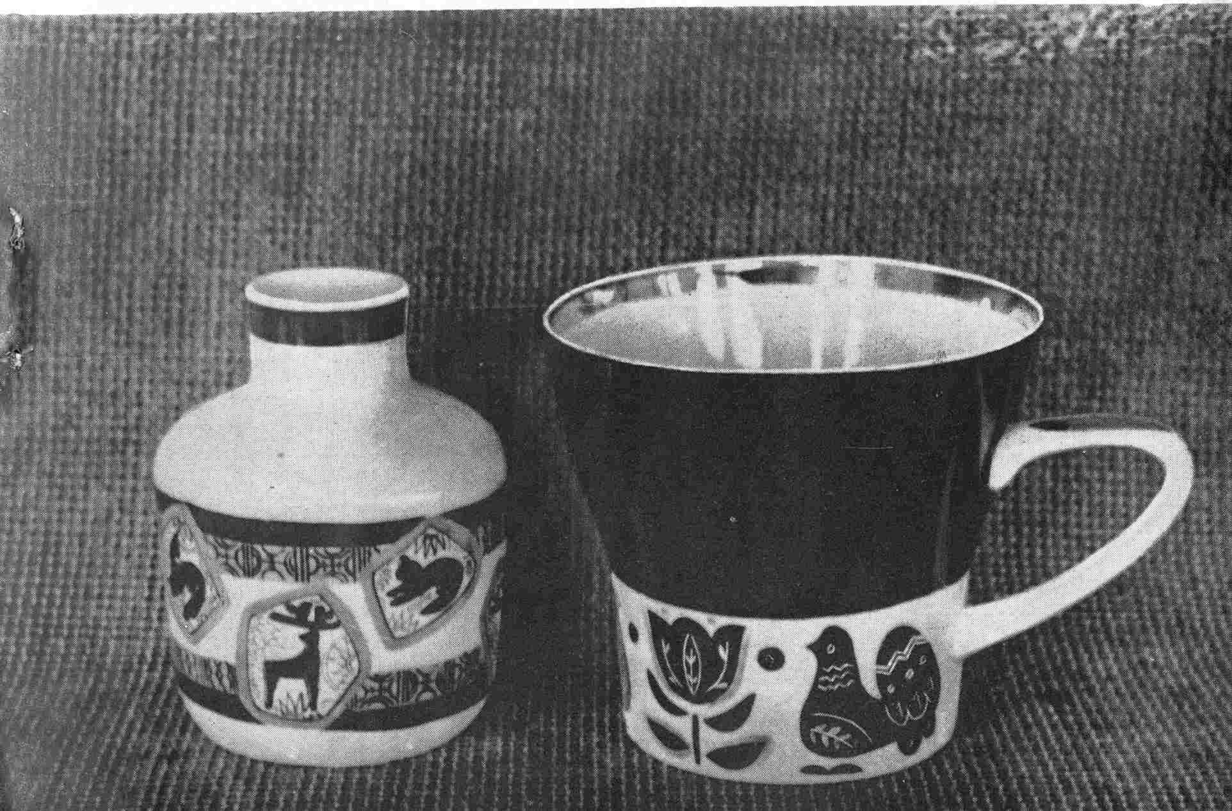
И вот, сев перед чистым листом, я стал размышлять: почему мы так скупо и монотонно оцениваем деловые качества того или иного работника! Ведь в конечном счете определяем значимость главного содержания жизни рабочего — его дела, его труда — и, следовательно, чем точнее и индивидуальнее эта оценка, тем больше пользы и удовлетворения принесет она ему. Видимо, собираясь высказывать то или иное мнение о деле, которому человек служит, мы должны освобождаться от налета будничной сухости и помнить, что сказанное тобою может оказаться важнее десятка официальных приказов с объявлением благодарности.

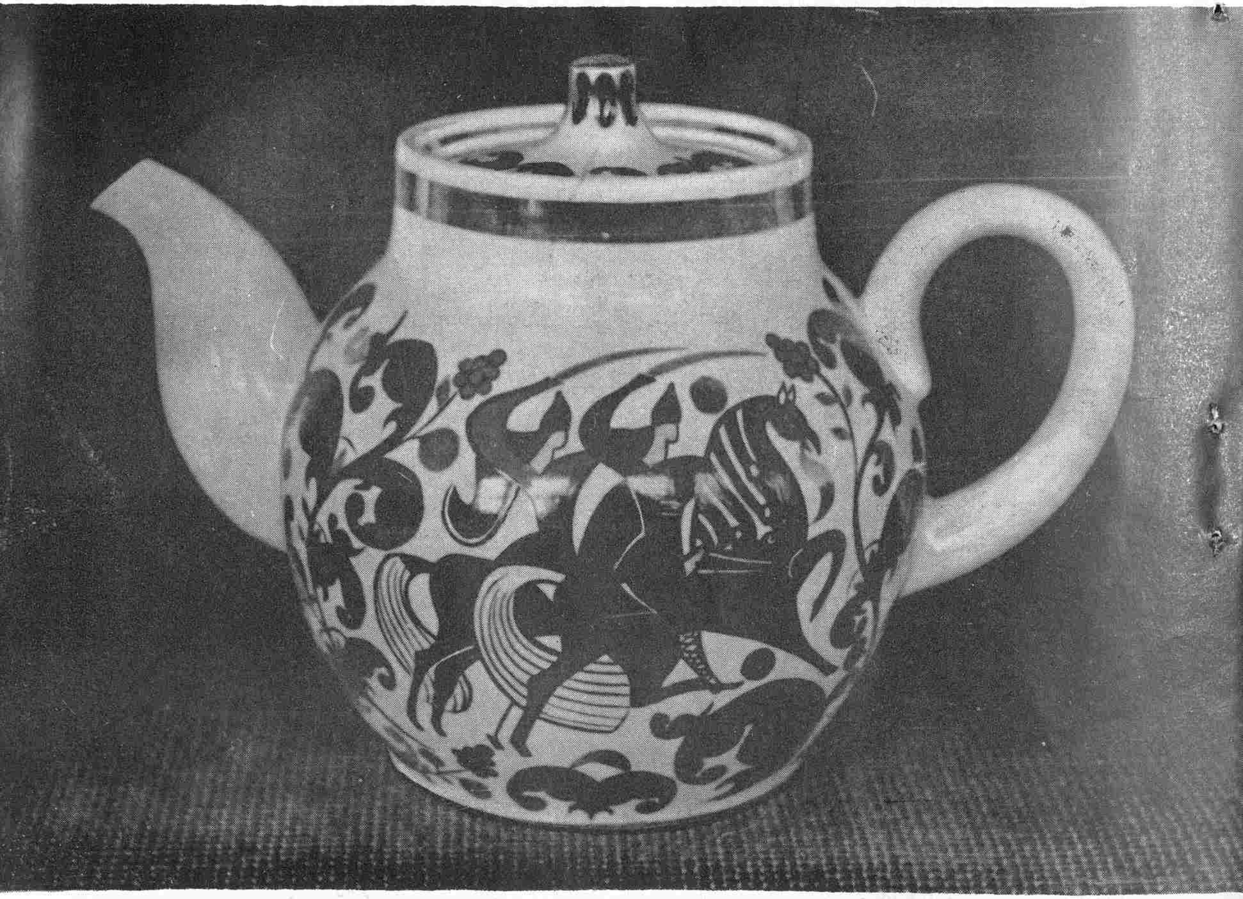
Есть у нас на заводе формовщик Никодим Константинович Китов, коренной хайтинец, сорок лет имеет дело с фарфором — я его хорошо знаю, и вроде бы просто рассказать о нем, а вот представьте, долго промучился, прежде чем нашел, как мне кажется, верную характеристику Никодиму Константиновичу. Сначала я думал: напишу, что он фарфорист до мозга костей, сформует все, что угодно, золотые руки, потомственный мастер, он и литейщик искусный, и умелый воспитатель рабочей моло-

Ликерный набор «Воин».
Роспись Д. Воронцовой.

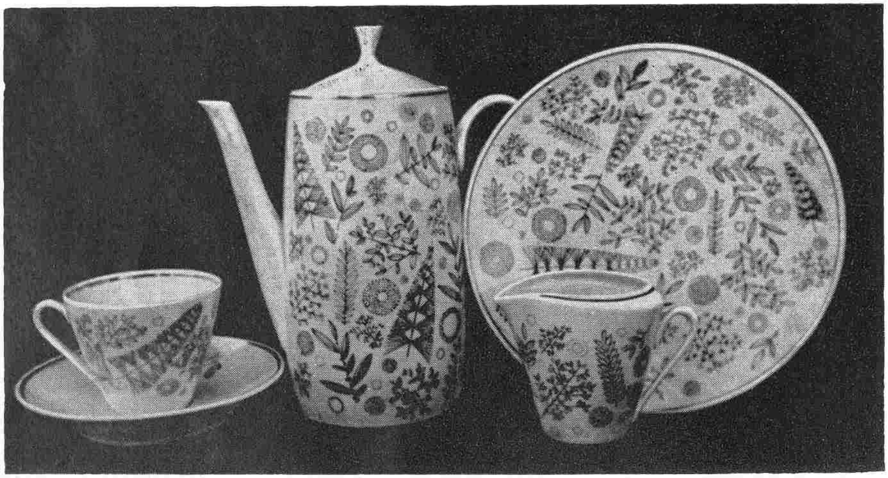


Бокал. Автор Р. Алешина.
Ваза. Авторы В. Сластной, Н. Асямова.

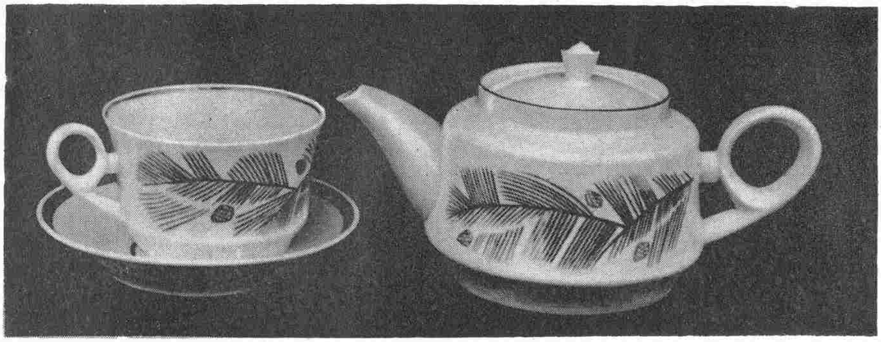




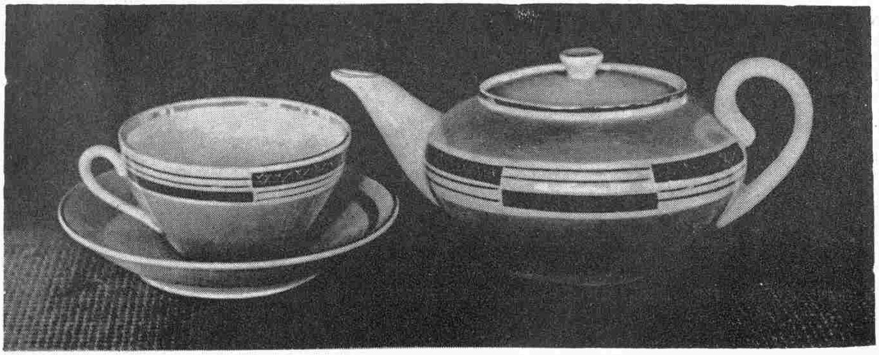
Чайник «Богатырь». Авторы В. Сластной, В. Чертков.



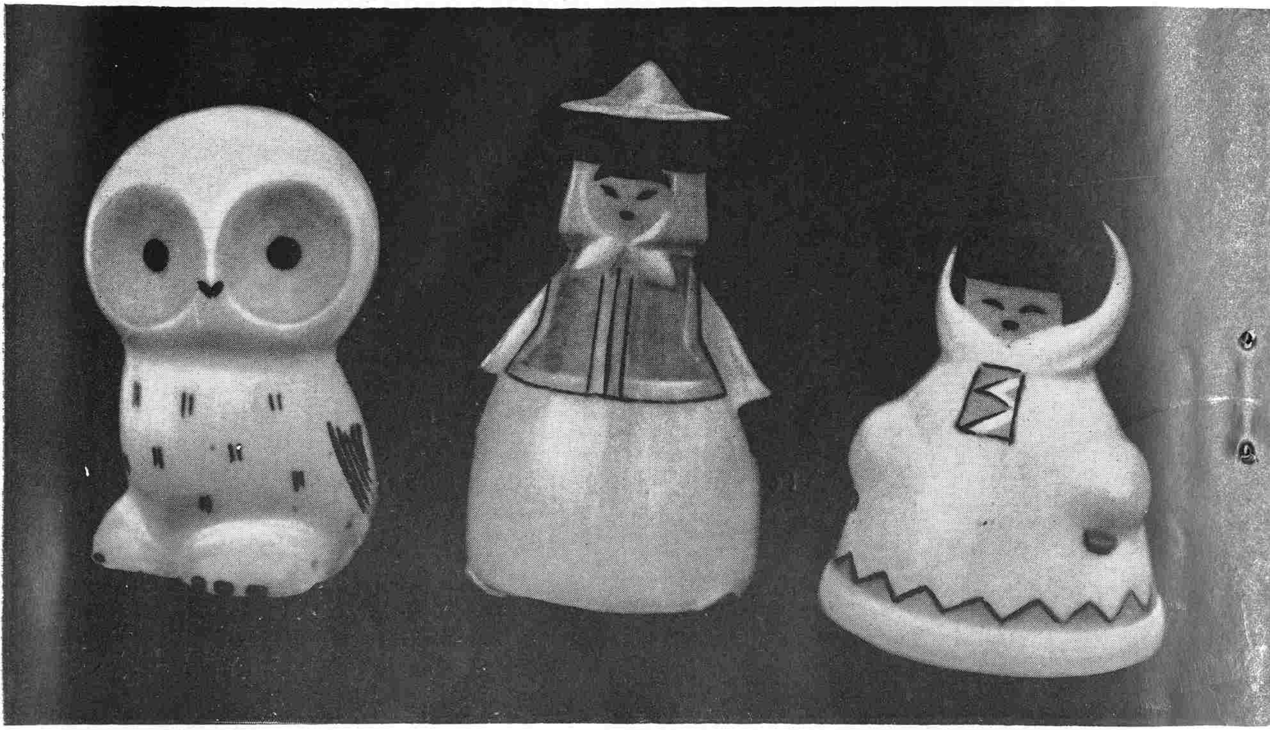
Кофейный сервиз. Роспись В. Сивкова.



Чайный сервиз. Автор А. Степанов.



Чайный сервиз «Диск». Авторы С. Федяев, В. Лобачев



Сувениры. Автор Д. Воронцова.

дежи — сколько времени мастером в нашем ФЗО был, — но все это представилось мне неубедительным, хотя и характеристика идеальная.

«Так чего же ей не хватает!» — думал я и понял, что недостает живого освещения, то есть той натуральности впечатлений, которую вызывает у меня облик Никодима Константиновича. Недостает его размеренной, обстоятельной речи, плавных движений рук, которыми он как бы ласкает форму, трезвого, несколько лукавого ума, сквозящего в его беседе, и, самое главное, той врожденной любви и почтительности к своему ремеслу, которые так свойственны русскому рабочему человеку. Внешне эти чувства почти не проявляются, разве лишь в какой-то подчеркнутой аккуратности спецовки, в тщательности и точности движений, какими отличаются старые мастера, но когда говоришь с Никодимом Константиновичем, даже не о деле, слушаешь его, то невольно ловишь себя на мысли, что тысячу лет знаешь этого человека и вроде бы видел его еще где-то, читал про него, смотрел фильмы — старый, добрый мастеровой, который прекрасно знает, что труд на земле — главный хозяин.

Модельщик Василий Прокопьевич Сластной любит после работы повозиться с пчелами, он большой охотник до доброй и озорной шутки, но я также знаю, что он талантливый скульптор-самоучка, и многие его работы проходили на художественных советах в Москве на «отлично». Так вот, интересно ответить на вопрос: в чем же его рабочая изюминка! Думаю, что, помимо природного дара и врожденного чувства формы, он старательно развивает вкус и приобретает подлинное профессиональное чутье, хотя специально нигде не учился. Когда я прихожу в художественную лабораторию и вижу, как, углубившись в себя, с некоторой даже мрачностью колдует у станка Василий Прокопьевич, мне всегда кажется, что он сочиняет новую форму или уже видел ее, вот подобное свойство характера, состояние души, если можно так сказать, когда творческая активность наглядна, наиболее примечательно в Василии Прокопьевиче.

Но, пожалуй, сложнее всего для меня рассказывать о людях художественной лаборатории, или, как иногда ее называют, нашего мозгового центра. Сложнее потому, что устремления и поиски наших художников, скульпторов относятся к разряду явлений психологических, порой неуловимых, подчиненных законам индивидуального творчества, и кажутся несовместимыми с требованиями массового производства. И все же с наших конвейеров за год уходит пятнадцать миллионов штук изделий, и личный творческий поиск направляется на то, чтобы эти миллионы были изящны, красивы и разумно стоили.

Мы стремимся по возможности гармонично оживить фарфор, используя традиции народных орнаментов, и делаем это, прежде всего, при помощи наиболее производительных методов декорирования фарфора.

Обычно эти методы не пользуются большим почетом у художников из-за якобы ограниченных декоративных возможностей. Но мы верили, что и трафарет, печать, и лаконичная роспись могут быть не только высокопроизводительными, но и высокохудожественными. И особенно верил в это художник Василий Спиридонович Сивков. Он приехал к нам из Ленинграда, закончив высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, и, конечно, надо было обладать известным художническим мужеством, чтобы, недавно сойдя со студенческой скамьи, взяться опровергать устоявшееся и авторитетное мнение, что печать невыразительна и старомодна. Этим способом декора, с его одноцветной графичностью, пользовались, в основном, для маскировки дефектов на фарфоре последних сортов, даже шутили: «Способ покрытия брака», и, казалось, безнадежнее дела, чем «оправдывать» печать, для молодого художника не придумать. Но Василий Спиридонович рассуждал так: «Почему эту печать не принимают всерьез? Ну, и что из того, что она одноцветна? Но ведь сколько прелести, просто-таки сверкающей в узорах народных кружев или в морозных разводах на окне! А ведь это тоже одноцветные рисунки!» И Василий Спиридонович задумал и сделал грамотные декоративные, по-современному свежие рисунки елочек, корабликов, согласованных с формой изделия.

Помню художественный совет в Москве, куда уже много лет не представлялся фарфор, декорированный печатью. Сначала там очень удивились нашей смелости, а потом единогласно приняли работы Василия Спиридоновича на «отлично». Это было полное и безоговорочное торжество творческой мысли над, казалось бы, непоколебимым мнением.

Поучительна также история с трафаретом. В руках художника Нины Александровны Асямовой и Дины Алексеевны Воронцовой он стал интересным художественным явлением, хотя тоже применялся для самых грубых покрытий. Художники решили перенести на фарфор национальный бурятский орнамент; перенесли, но первые опыты оказались неудачными. И вот почему: орнамент копировался механически с кожаных изделий, с сундуков, с национальных костюмов, а декоративные свойства фарфора при этом не учитывались. Нина Александровна и Дина Алексеевна ездили в Улан-Удэ, тщательно изучали там народное творчество, искали логическое сочетание его элементов с форфором и нашли. Форфор вовсе не утратил красок от того, что декорировался столь простым методом, а, напротив, приобрел благодаря ему новые качества — свежесть цвета и нежную выразительность.

Здесь самое время и место сказать о Нине Александровне Асямовой. Она прожила большую жизнь и прожила ее нелегко: комсомолка первых послереволюционных лет, а потом коммунистка, она делила вместе со страной и радость, и горе, больше четверти века отдала нашему заводу, и были времена, когда Нина Александровна в одном лице представляла всю художественную лабораторию.

Она уже может не работать, может пользоваться всеми благами пенсионного покоя, но она работает. Конечно, это объясняется и любовью к своему делу, и неумением сидеть сложа руки, но не в этом, по-моему, соль характера. У нее, как принято говорить, молодая душа, то есть великое умение не отставать от времени, нет, нет, не приспосабливаться к нему, а находить в себе нравственные, сердечные силы смотреть настоящему в глаза и принимать его требования, а не вздыхать с сожалением: «Не то теперь время, нет, не то». Ведь надо представить: когда заводу предложили новый и довольно жесткий художественный счет, Нине Александровне, человеку на склоне лет, с установившимися взглядами, предстояло решительным образом пересмотреть их. И она смогла это сделать, и вскоре ее новые работы, уже отвечающие требованиям современного декоративного искусства, на московских художественных советах получили отличные оценки.

Вот и в том случае с трафаретом, когда Нину Александровну на первых порах постигла неудача, она не поддалась ей и опять вышла победительницей. Непокорство, наверное, тоже свойство молодой души.

Вообще, так и напрашивается сопоставление: молодой художник, недавний студент, имеет смелость идти против общепринятого мнения и художник на склоне лет имеет смелость перебороть себя и опять шагать в ногу со временем — это ли не свойство настоящей художнической натуры!

Да, рабочая изюминка, рабочая изюминка. Творческая суть рабочей души... Я перебираю сейчас в памяти знакомые биографии хайтинцев — о, сколько бы надо рассказать! Но, конечно, это непосильно одному человеку.

Дина Алексеевна Воронцова. Я уже начинал о ней рассказывать. Где прячется ее рабочая изюминка? Она настойчива: из живописца-исполнителя сумела вырасти в квалифицированного художника. Расписывала-расписывала фарфор и вдруг создала несколько очень славных сувенирных скульптурок на бурятские и северные темы. Скульптурки эти вытеснили громоздкие и трудоемкие образцы, выпускавшиеся нами прежде, и пользуются большим успехом у покупателей. Может быть, Дина Алексеевна через какое-то время опять так приятно всех удивит. Даже наверное. И, может быть, поиск самой себя как оригинального художника-фарфориста и составляет сейчас рабочую изюминку, «секрет» Дины Алексеевны!

Алешина Раиса Григорьевна. Нынешний главный художник завода. В ее творчестве настолько сильно лирическое начало, что невольно поддаешься очарованию нежных красок ее цветов. И я нисколько не удивился, когда на последнем художественном совете чайный сервиз, созданный Раисой Григорьевной, помимо отличной оценки, вызвал единодушные аплодисменты, что на советах случается не часто. Пожалуй, трудно найти тему для росписи более радостную, чем цветы. И как раз этой-то темой Раиса Григорьевна владеет свободно.

Вспоминаю прямо-таки фанатическую целеустремленность молодого художника Владимира Черткова, который обещает стать незаурядным стилистом. Созданные им росписи уже сейчас обращают на себя внимание серьезным проникновением в мотивы русского народного творчества и древнерусской живописи. Вспоминаю Кокарева Юрия Николаевича. Его знали как виртуоза-живописца и мастера на все руки. И все-таки не ожидали, что в нем к тому же таится и незаурядный художник. Но вот он в художественной лаборатории и расписывает сервиз неожиданными цветами — Юрия Николаевича, оказывается, тянет в сказку, в фантастику, так причудлив и ярок новый узор. Может быть, знатоки и найдут в них некоторый недостаток строгого вкуса, но Юрию не занимать настойчивости в достижении цели.

...Пора поставить точку. Вспоминаю и ловлю себя на мысли, что хочу подсчитать, о ком еще не написал. Августа Ивановна Сапарова, главный технолог, старейшая фарфористка, вводила режим однократного обжига, Николай Иванович Бахтин, опытный обжигальщик, перенявший у отца профессию и заменивший его у рубильника— нет, воистину, всего не расскажешь. Единственное утешение, что всех нас объединяет общий труд и забота о родном заводе.

ФАРФОР СИБИРСКИЙ, ФАРФОР СОВЕТСКИЙ

Но вернемся к истории. 4 марта 1917 года кочегар М. Г. Жмакин дает долгий, торжественный гудок — не стало царя. Рабочие собрались на митинг, которым руководил Дмитрий Константинович Белановский, главный механик фабрики, вскоре после марта ставший большевиком. Четверо фабричных полицейских не сопротивлялись и добровольно сдали оружие. После митинга рабочие, распевая революционные песни, прошли по поселку — да, наступала новая жизнь.

В начале 1918 года на фабрике создается большевистская партийная ячейка. Она подбирает кандидатуры в состав рабочего контроля, готовит рабочие собрания. Когда белочехи восстали и в Иркутской губернии, на фабрику приехали двое черемховских большевиков, сумевших с помощью партийной ячейки на базарной площади собрать многолюдный митинг рабочих. Большевики призывали рабочих с оружием в руках вступить на защиту Советов. Начиналась гражданская война. Вскоре власть в Мишелевке захватили белогвардейцы.

Выпуск фарфоро-фаянсовых изделий в это время сильно сократился. В 1919 году закрылось производство тонкого фаянса, потому что не было олова, свинца и других материалов. Забегая вперед, можно здесь заметить, что в 1924 году рабочие решили вычеркнуть слово «фаянсовая» из названия Хайтинская фарфоро-фаянсовая фабрика, так как фаянс больше не выпускался.

В конце января двадцатого года к поселку приблизились остатки колчаковской армии. Фабричная партячейка сформировала боевую дружину, занявшую позицию у Голуметн.

Поняв безнадежность положения, хозяин фабрики Метелев продает предприятие «Закупсбыту», а в феврале в поселок вступили части 5-й Красной Армии и власть перешла к Революционному комитету. Ревком обеспечивает революционный порядок, участвует в ликвидации колчаковских банд, берет на учет продовольствие и фураж для нужд Красной Армии.

Против ревкома действовали скрытые враги рабочего класса — меньшевики и эсеры, поддержавшие антисоветские действия Шишканова, бывшего колчаковского офицера, направленного директором на фабрику конторой «Закупсбыт». Шишканов приказал затарить всю готовую фарфоровую и фаянсовую продукцию. На вопрос рабочего контроля «Куда грузится посуда!» он ответил: «Фарфоровая посуда срочно нужна кооперативным организациям в городах Западной Сибири. Продукцию кооперация реализует на товары». Это была провокация. Посуда ушла в неизвестном для рабочих направлении. Обещанных товаров не дождались. Сделав свое подлое дело, Шишканов скрылся за границу.

Затем фабрика перешла во владение «Центросоюза». Фабричные постройки требовали капитального ремонта и обновления. Новые хозяева на словах обещали расширить и переоборудовать фарфоровое производство, а на деле ничего не сделали. Поэтому предприятие в феврале-марте 1920 года выпустило только пять тысяч единиц, уменьшив выработку почти в десять раз по сравнению с 1913 годом. Была острая нужда в дровах, шпате, кварце, не хватало лошадей.

Партийный коллектив обратился за помощью в Иркутский ГубСНХ, указывая, что контора «Центросоюза», в ведении которой находится фабрика, не может обеспечить нормальную работу ее. Были скомплектованы две бригады дровосеков, и вскоре заготовленный лес они сплавили по реке Белой до фабрики, где после смены рабочие пилили его на дрова. По распоряжению ГубСНХ заготовили шпат и кварц, а заготовку и доставку каолина взяли на себя рабочие фабрики. Помогать им вызвались красноармейцы 5-й Красной Армии.

1 августа 1920 года предприятие национализируется и называется 1-й Государст-

венной Хайтинской фарфоровой фабрикой «Сибфарфор» с передачей ее в распоряжение Химотдела Иркутского Губсовнархоза.

По его просьбе в 1922 году на фабрику были направлены специалисты — горный инженер Мещенников и инженер-металлург Емельянов, который восстановил заброшенное фаянсовое горно, отремонтировал японское горно, проверил все круглые русские горны, впервые применил термопары. В 1923 году ему предложили сделать проект нового горна. Он выдвинул проект тоннельного.

В это же время решается вопрос о постройке новой фабрики. Под руководством профессора И. Ф. Пономарева организуется проектное бюро, и в 1924 году проект готов и утвержден, а осенью уже начали строить новый фабричный корпус.

Сооружалась тоннельная печь — первая в СССР. Она представляла комбинацию двух систем тоннельных печей — американской и европейской. Многие консерваторы говорили: «Печь не пойдет». Она была построена в ноябре 1927 года. Строителю — инженеру Н. А. Емельянову преподнесли золотой жетон. Обслуживать новую печь взялась молодежь. Старые, опытные горновщики растерялись, стали прикрываться малограмотностью и неумением, от перехода на тоннельную печь отказались. Затем «отцы горнов» увидели, что без их помощи молодежь с работой справляется. Чтобы не быть побежденными, старики стали изучать печь.

В упорном труде фарфористы сумели в 1926 году превзойти показатель 1913 года. Надежды врагов на неминуемую гибель сибирского фарфора, на то, что фабрика не выйдет из хозяйственной разрухи без привлечения иностранного капитала, потерпели полный крах.

В эти же годы геологи пришли к выводу, что месторождение Голубичного рудника испорчено закладкой шурфов и высшие сорта каолина истощены.

Это обстоятельство заставило фабрику найти новое месторождение в районе Трошковской земли, около станции Половина, в восемнадцати километрах от завода. И до сих пор каолин добывается в Трошковском руднике. Эта глина, как природно чистая, после обжига придает изделию белизну. По своему химическому составу она почти не имеет примесей и придает сырцу-полуфабрикату достаточную механическую прочность и при глазуровке изделия не размокает.

Помимо выпуска фарфоровой посуды, технических изоляторов, санитарного фарфора, по заказам Иркутского завода имени Куйбышева, Усольского сользавода и других предприятий изготавливался огнеупорный кирпич, выдерживавший температуру в тысячу градусов.

Но мирное творчество сибирских фарфористов прервала Великая Отечественная война. Мужчины ушли на фронт, их заменили женщины и подростки.

Завод переходит на выпуск изоляционно-технического фарфора и химической посуды.

По указанию Центрального Комитета партии из западных районов в Сибирь срочно эвакуировались оборонные заводы. Осенью сорок первого на «Сибфарфор» прибывает оборудование абразивного завода «Ильич». Из Ленинграда и Челябинска приезжают специалисты абразивного производства, проложившие начало Хайтинскому абразивному заводу.

В январе 1942 года выпускается первая пробная партия абразивов, давшая удовлетворительные результаты.

Но и в суровые годы войны выпускался фарфор. Из хайтинской посуды ело и пило население Иркутской области, кроме того, она отправлялась в Монгольскую Народную Республику.

После войны хайтинцы, продолжая выпускать абразивы, упорно восстанавливают фарфоровое производство, осваивают новые образцы суповых мисок, компотниц, чайных и столовых сервизов, цветочных ваз, статуэток.

В 1954 году мы перестали выпускать абразивы и занялись только фарфором, а три года спустя Министерство местной промышленности РСФСР утвердило нам проект частичной реконструкции завода. Мы должны были выпускать в год пятнадцать миллионов штук изделий. И, последовательно осуществляя реконструкцию, мы в 1966 году перекрыли проектную мощность.

Крупные события произошли в жизни поселка. Деревянная плотина на пруду заменена железобетонной. Берега Белой связал современный двадцатипятиметровый мост, рабочие получили целый поселок новых жилых домов, а в юбилейном 1967 году справили новоселье в первом трехэтажном доме со всеми удобствами. Мы продолжаем строить такие дома. Вообще, если поставить себя на место человека, давно не бывавшего в Хайте, и пройтись свежим взглядом по заводу, полюбоваться его просторными, светлыми цехами или конвейерными линиями, зелеными аллейками на территории, то можно удивиться произошедшим переменам.

Повышенный спрос на фарфор вызывает у нас необходимость дальнейшего расширения завода, и вот 27 марта прошлого года нам утвердили проект расширения. После него мы будем выпускать не пятнадцать, а тридцать пять миллионов штук изделий в год. И тогда мы полностью удовлетворим потребность населения Сибири в хозяйственном фарфоре. Сибиряки смогут приобрести столовые и чайные сервизы, кружки, стаканы, детские наборы, сувенирные изделия, отвечающие самым высоким требованиям современного декоративно-прикладного искусства.

Завершая очерк о сибирском фарфоре и творцах его, я попытаюсь заглянуть в будущее завода и поселка. Через пять лет, когда мы закончим строительство нового цеха, перед патриотами фарфора предстанут красивые современные корпуса из стекла и бетона, утопающие в зелени. В них разместится максимально механизированное производство, интерьеры цехов и участков будут соответствовать лучшим достижениям производственно-технической эстетики.

Исчезает ряд тяжелых и вредных работ: с переводом тоннельных печей на жидкое топливо не станет газовщиков. Профессии грузчиков, транспортировщиков изделий также уйдут в прошлое. Формовку и литье изделий будут полностью выполнять полуавтоматы. Одним словом, возникнут условия для резкого улучшения качества фарфора. Значительная часть его будет выпускаться тонкостенным. Повысится белизна, до предела сократится количество дефектов.

Поселок фарфористов превратится в небольшой благоустроенный городок с кварталами современных зданий. В этом городке будет построен бальнеологический курорт.

Мишелевцы получат несколько магазинов, больницу, поликлинику, а молодежь поселка будет заниматься в спортивных секциях, кружках художественной самодеятельности нового клуба на шестьсот мест, который построим в эти годы. Получат фарфористы и прочие блага, необходимые для нормальной жизни: новый рынок, хлебопекарню, новый стадион. Все эти изменения на заводе и в поселке скажутся, естественно, и на облике людей, на их профессиональном уровне.

Мы сейчас уже профессионально ориентируем учащихся средней школы, повышаем общеобразовательный уровень у работающей молодежи, воспитываем любовь и уважение к профессии фарфориста (здесь помогает нам заводской музей), и мы верим, что рабочий семидесятых годов будет высокообразованным человеком, который сердцем воспримет достижения старшего поколения мастеров и сумеет сказать новое слово о сибирском фарфоре.

Марк СЕРГЕЕВ

СЧАСТЛИВЫЙ ПОЕЗД

Из книги микромемуаров

Не знаю, кто назвал этот уютный поселок на Киевской дороге Переделкино, но с тех пор, как был создан там Дом творчества литфонда и дачный городок писателей, название это стало и символичным, и, так сказать, профессиональным, и пародийным. И параллельно с привычно звучащими названиями улиц, появились шутливые — «Аллея классиков», «Тропа модернистов», «Недоделкинская роща».

Наши комнаты были рядом. Василий Субботин вступал тогда в книгу, которая через два-три года принесла ему славу и сердечную признательность читателей — «Как заканчиваются войны», он писал еще тогда параллельно и книгу стихов, и короткие, но емкие страницы воспоминаний о фронтовых побратимах-писателях, с кем свела его перепутанница войны. Биографии эти были суровы и скупы, герои их — мужественны и немногословны, стихи поэтов, не вернувшихся из атак, — прекрасны и вечны. Он воскрешал этих людей, снова ставил в строй — накрепко, навсегда.

Вечерами мы читали друг другу кое-что из того, что написано было за день, вспоминали первое знакомство — вскоре после войны Василий Субботин, молодой, худущий, большеглазый вместе с Расулом Гамзатовым, который тогда тоже был несколько стройнее, объявились в Иркутске. Жил тогда Василий в Крыму, куда демобилизовался из армии потому, что по-солдатски ничего не имел за душой — даже пальто было неразрешимой проблемой — и он уволился из армии в край, что потеплее, разрешив таким образом надолго проблему зимней одежды.

И этот очерк написан-то именно потому, что поздней осенью и зимой 1963 года наши комнаты оказались рядом — на втором этаже деревянного рыжего коттеджа во дворе Дома творчества в Переделкино. Причиной всему был счастливый поезд...

Началось это так...

Они шли втроем. Невысокая, необычайно женственная, похожая на добрую снегурочку «хозяйка» — Надежда Анатольевна; ленинградец, автор исторических романов — через плечо у него висел киноаппарат, и писатель то и дело вскидывал его к прищуренному глазу и давал «очередь». Третьим был высокий, авантажный, неторопливый Корней Иванович Чуковский. Было скользко. Он опирался на трость и, видимо, рассказывал что-то смешное, потому что на лицах всех троих — мне это было видно через окно, выходящее на аллею, — то и дело вспыхивали улыбки.

Я выбежал, когда они поравнялись с коттеджем: нужно было отдать Надежде Анатольевне, не помню уже точно, не то путевку, не то квитанцию, выбежал не одеваясь, в тонком свитере, и прежде чем успел сказать слово, Корней Иванович уперся кончиком трости мне в грудь и спросил:

— Вы знаете что такое радикулит? Не знаете! — он с докторским видом, полуулыбаясь, оглядел «аудиторию» и, продолжая играть Айболита, назидательно сказал:

— Так вот лихие молодые люди вроде вас его и зарабатывают. Идите и возвращайтесь одетым, а мы уж вас подождем. Подождем, а?..

На «Аллее классиков» никого не было — время прогулок еще не наступило; в комнатах Дома творчества стрекотали машинки, скрипели вечные перья, бессмертные и рядовые писатели, разделенные стенками, оставляли на бумаге «ума холодные наблюдения и сердца горестные заметы».

— Не буду скрывать, — сказал серьезно Корней Иванович, — что сейчас мы будем играть в игру: вопросы и ответы. Я буду задавать вопросы, а вы — отвечать... С кого же мы начнем? — опять голосом Айболита спросил он и притронулся легонько кончиком трости, как волшебной палочкой, к Надежде Анатольевне. — Итак, где вы родились?

— Я — пермячка.

— Ну, сколько вам лет я не спрашиваю — сразу видно, что еще совсем недавно вы сидели за партой и мальчишки посылали вам записочки. Не так ли?

Так полушутя, полусерьезно каждый из нас рассказал свою биографию.

«Аллея классиков» подошла к поселку Мичуринец и тут резко повернула в обратную сторону, чуть под углом. Здесь всегдашний традиционный разворот. Но вернулись обратно только Надежда Анатольевна и ленинградец. А мне Корней Иванович предложил идти прямо по ухабистой, заваленной снегом дорожке, мимо дубов, на которых все еще висели сморщенные сухие тускло-охровые листья. Дорожка шла мимо дачных заборов еще метров триста и упиралась в Киевскую железную дорогу — насыпь ее прорезала здесь высокий глинистый бугор, и тропка обрывалась у заснеженного кустарника на кромке этого бугра.

— Если вы не торопитесь — подождем поезда. Хорошо? Вы знаете, у меня есть особая примета; я здесь часто гуляю и обратил внимание на такую закономерность: если за полчаса по дороге пройдет только электричка — у меня будет неудачный день. Если пассажирский поезд — день так себе. А вот если товарняк — будет хороший, удачный денек. Но лучше всего если в составе окажется больше тридцати вагонов, скажем тридцать два или тридцать пять. Тогда я возвращаюсь домой в прекрасном расположении духа. И работается хорошо...

Я бывал на больших детских праздниках у дедушки Корнея, выступал перед ребятами в библиотеке, небольшой, уютной, всегда полной гомона и веселья, — эту библиотеку построил Корней Иванович рядом со своей дачей, и нет, должно быть, детского писателя, которого не представил бы Корней Иванович своим юным, но требовательным читателям — выступать перед ними дело не простое. И вот этот сказочник, выдумщик, умеющий мгновенно перевоплощаться, придумал взрослую, чуть грустную игру — для самого себя.

Мне представилось, как сидит он за письменным столом, настроение так себе — что-то не вяжется, что-то не клеится... Тогда надевает он шубу с шалевым воротником, высокую шапку, берет трость и выходит на «Аллею классиков». Идет наедине с мыслями своими, идет, взвалив на прямые еще плечи свои восемь десятков лет, свои энциклопедические знания, нелегкую память. Он идет меж заборами, мимо онемевших на зиму дубов — летом они шелестят, роняют крепкие желуди. Он идет по тропинке, бегущей по кромке косогора, идет на запад к платформе «Мичуринец», идет, пока за спиной не услышит нарастающий грохот. Должно быть, за многие годы он научился уже угадывать по гулу какой идет поезд — электричка, пассажирский или товарняк... Поезд пролетает — и как бы перерезает невидимую ленточку, обрывает нить, тормозящую мысль и чувства... Вдруг становится легче и хочется в дом, за стол, за работу...

И разве каждый из нас не придумывает себе такой наивный самообман, такую безобидную игру! Одни раскладывают пасьянс — выйдет! не выйдет! Другие всю жизнь перечитывают главу — одну и ту же — какой-либо книги. Третьи выходят на улицу и с трепетом ждут: кто встретится первым — мужчина! женщина! Маленькая хитрость, помогающая нам порой уйти от самих себя.

От Москвы нарастал грохот. Шел товарняк. И мы стали считать вагоны — десять... двадцать... сорок... пятьдесят... пятьдесят два...

— Ну вот, — облегченно вздохнул Корней Иванович. — Теперь не буду от вас скрывать, я хотел бы послушать ваши стихи...

Поезд отшумел вдали. Стало тихо. Мы смотрели на рельсы, словно там остался некий след жизни, прошумевший мимо...

— Мы шумели лесами,
теперь мы лежим под колесами,
над крутыми откосами
под снегопадом и росами.
Нам знакомы деревни,
мы входим в столицы устало. ,
Мы уже не деревья:
мы спины,
мы плечи,
мы — шпалы...

Я читал, а Корней Иванович задумчиво глядел на дорогу, его трость точно стрелка некоего магнита, была направлена в сторону колеи, она вздрагивала в такт с каждым ударным слогом, словно бы это не я, а сама железная дорога рассказывала о житье-бытье...

Потом, уже стемнело, мы возвращались по «Аллее классиков», говорили негромко. У самого входа на территорию Дома творчества повстречались нам Илья Львович Сельвинский и Василий Васильевич Казин. Они шли разрумяненные, по банному венику под мышкой.

Корней Иванович снова стал режиссером. Ворота генеральской усадьбы стали эстрадой, Сельвинский и Казин — публикой, Чуковский — импресарио, я — исполнителем... Все это было как-то всерьез и не всерьез, а вот почему-то запомнилось навсегда: окрепшие сумерки, зеленые в черных тенях веток ворота генеральской усадьбы, три классика советской литературы на улице, которую полушутя называют «Алеей классиков», — двое с березовыми вениками, один — с узловатой тростью. И провинциальный поэт, смущаясь от такого третейского суда, читает вполголоса стихи.

Представление закончилось.

Через минуту Корней Иванович легко взбежал по крутой лестнице коттеджа — я жил на втором этаже. Откуда в этом человеке столько силы и молодости! Он даже не запыхался.

Весь вечер мы говорили о детской литературе.

Назавтра Василий Субботин сказал:

— Такие встречи надо записывать. И вообще, почему бы не написать тебе такую книжку? Ты же там в своей Сибири встречаешь уйму интересных людей.

Только сейчас этому пожеланию суждено было исполниться. Но все пять лет мысль о книге небольших новелл об известных людях, с которыми столкнула меня жизнь, неотступно жила во мне. Жила вместе с благодарностью к скромному и негромкому человеку, прекрасному писателю Василию Субботину.

В писательской среде, особенно в бесконечных командировках, сталкивающих нас под крышами гостиниц, рассказывается много баек. Если их записать — получится объемистое и любопытное собрание. Но я решил говорить только о том, что видел сам и сам пережил. Поэтому заранее прошу извинить меня за то, что моя скромная персона будет порой появляться на страницах этой книги. С этим уж ничего не поделаешь — таково свойство всех мемуаров.

ЯБЛОКО ИЗ НИЛИНСКОГО САДА

Было часов одиннадцать.

Над Переделкинскими прудами висел клочковатый туман, он все набирал силу, постепенно застилая огни поселка, вечерние притихшие рощи, знаменитые три сосны над могилой Бориса Пастернака. А в писательском городке — он повыше — все еще жила пронзительная ясность, предосенние звезды светляками сидели на недвижных ветвях, и осыпались желуди, точно тайная конница негромко, настороженно цокала копытцами в темноте. Цок! Цок! Со всех сторон! И эта доверительная мгла и отрешенность... Вот я написал: «было часов одиннадцать», но могло быть и десять, и двенадцать... Мы как-то даже не задумались об этом, когда А. Шаров (многие знают его книги «Ручей старого бобра», «Друзья мои — коммунары») предложил:

— Пойдемте к Нилину.

И мы пошли.

Дача стояла темная, только в нижнем этаже неярко светилось окно, казалось, хозяева ушли и забыли погасить свет — так неестественно тихо и покойно было кругом. Только потом, когда открыл нам дверь чуть заспанный Павел Филиппович, мы подумали, что уже поздно, что Нилин встает всегда на рассвете, и нам стало неловко. И, словно понимая нас и пытаясь смягчить наше смущение, Нилин подвинул большую стеклянную вазу и сказал:

— Я знаю тайную цель вашего посещения: вы пришли попробовать наши яблоки, — он придвинул вазу. — Садитесь, пожалуйста.

Но вечер был все-таки совсем особенный, в такие вечера происходят самые необычайные и фантастические происшествия. И мне думалось, что обязательно что-то должно случиться на этом островке среди тумана, что-то из ряда вон выходящее. Но шла тихая беседа — на ощупь, — словно определялся ее строй, выбиралась тема, но настроения и состояния всех четверых — Павла Нилина, Любови Рудневой, Шуры Шарова и мое — никак не совпадали, пока хозяин дома не достал толстую в коричневом коленкоровом переплете тетрадь, — кажется, она была в клеточку, — достал, как герои сказок достают волшебный ларец...

— Если, конечно, вы не устали... Это так — экзерсисы. Уроки на каждый день...

Рассказы в тетради были разные — психологические, остросюжетные, поучительные и эскизные... Один из них особенно поразил нас: в нем жила непритязательная женщина, чистая и естественная, как сама природа. От нее пахло и этим сегодняшним туманом, и свежестью Переделкинских прудов, от нее исходил тихий уютный свет. И хотя в рассказе говорилось о вещах тоскливых — в квартире, где жила героиня рассказа, умер человек, она помогала семье приготовить его к завтрашним похоронам, потом бежала на пруды, купалась, потом появлялась в комнате человека, которого любит, но ее удивительная естественность и чистота облагораживала все: и любовь, и смерть, и к душе прикасалась высокая одухотворенная доброта.

Не знаю как другие, но я так и ушел в состоянии некоего созерцательного одухотворения, ощущения радости жизни и ее полноты. И желтые фонарные лучи, процеженные сквозь туман, качались и касались наших лиц, точно руки добрых волшебников.

Наверное, Павел Филиппович и до сих пор не знает, какой щедрый подарок он сделал мне в ту ночь.

Назавтра мы удивлялись, что такие рассказы томятся в тетради под коленкоровой обложкой, хотя многие из них могли бы поспорить совершенством своим с лучшими произведениями этого жанра в советской прозе.

Я вспомнил, что сам был свидетелем каждодневной работы Павла Нилина.

Дело было так:

В Бурятии шесть лет назад проходил пленум Правления Союза писателей РСФСР — темой разговора была вечная и сложная проблема «Национальные традиции и современность».

Нас поселили на дачах, ежедневно по многу часов мы заседали, а потом, к вечеру, разъезжались по районам республики, выступали в колхозах, на заводах, в пионерских лагерях. А еще позже — в темноте уже — собирались за ужином, и так как приехало в Сибирь много крупных и самобытных художников — Валентин Катаев и Лев Кассиль, Давид Кугультинов и Кайсын Кулиев, писатели Калмыкии, Якутии, Тувы, Хакассии, Дагестана, то разговоров было вдоволь, и такое широкое общение уже не оставляло возможности работать — просто человек ни на минуту не оставался наедине. И все же Павел Филиппович — мы с ним жили в одной комнате — умудрялся и здесь, усевшись в кресло, углубиться в свои мысли. Потом он доставал малюсенькую записную книжку — в таких обычно записывают адреса и телефоны — и что-то писал. В таком случае он просил меня, со свойственной ему застенчиво-иронической улыбкой:

— Марк Давидович, если вы мне разрешите — я немного подумаю.

Только потом я узнал, что так, в маленьких записных книжках иногда по нескольку строк в день, пишет Павел Нилин свои повести. Видимо, из давних журналистских времен осталась у него эта привычка работать всегда, работать везде.

В день юбилея — в январе 1968 года Павлу Филипповичу исполнилось шестьдесят — я выступил в иркутской газете «Восточно-Сибирская правда» с небольшой статьей. В ней говорилось, что непрост путь от иркутского парня-слесаря, от юного сотрудника тулунской ячейки ЧК, от сибирского журналиста до писателя с мировым именем, и так же сложен путь от одного из первых заметных романов «Человек идет в гору» до ставших советской классикой повестей «Испытательный срок» и «Жестокость». Жизнь не щадила нашего земляка, полной горстью выдала ему и славы и горестей. И вот нежданно эта статья помогла мне получить одну старую-старую фотографию.

В поселке Куйтун шел вечер альманаха «Ангара». Он затянулся, а нам во что бы то ни стало нужно было последним ночным поездом вернуться в Иркутск. Еще шли споры, еще не иссяк список выступающих, а у порога Дома культуры уже «бил копытом» райкомовский газик. И когда конференция закончилась и мы вышли на крыльцо, подошла ко мне немолодая женщина с выпуклыми юными, все еще девичьими глазами и сказала:

— Моя фамилия Лыткина. Я хочу вам что-то показать. Прочитала вашу статью в газете и вот принесла...

И она мне протянула фотографию. Она была сделана в Иркутске в апреле 1927 года. После какого-то события — теперь уже стерлось оно из памяти — семеро журналистов, сотрудников местного отдела иркутской газеты «Власть труда», решили сфотографироваться. Один из семерых — высокий, смуглый, в широкобортном драповом пальто и кепочке — Павел Нилин. Я смотрел на задумчивое лицо человека, стоящего еще у истоков своей «Большой жизни», у истоков судьбы, и думал, что, видимо, еще в далекой юности зарождалось в Павле Нилине главное качество его таланта — гуманность, внимание к тонким движениям души человеческой. Соединенное затем с большим и сложным жизненным опытом, самоотверженным трудолюбием и высочайшей требовательностью к себе, умением переоценивать ценности, взглянуть на все написанное честным бескомпромиссным и беспощадным взглядом, наконец, благородная душевная чистота и скромность, прячущиеся за иронией, — все это, вместе взятое, неразделимое, поставило Павла Нилина в ряды самых честных художников нашего времени, в число людей, чьи имена мы произносим с особой гордостью.

Книги «Жестокость», «Испытательный срок», «Через кладбище» стали для читателя открытием. Мне думается, что нам предстоит еще немало таких неожиданных его творческих открытий. Я думаю об этом, вспоминая удивительный вечер в Переделкино, разлитый над прудами туман, толстую тетрадь в коричневом коленкоровом переплете и вкус яблока из нилинского сада.

ВИТАЛИЙ ЗОРКИН

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ В СЕЛЕНГИНСКОМ ПЕХОТНОМ ПОЛКУ

Полвека назад поэт Александр Блок писал о М. Ю. Лермонтове: «Великий русский поэт — великая историческая загадка; о Лермонтове еще почти нет слов — молчание и молчание. Почвы для исследования Лермонтова нет, биография — нищенская, остается «провидеть» Лермонтова. Хочется бесконечного беспристрастия. Когда роют клад, прежде всего разбирают смысл шифра, который укажет место клада, потом семь раз отмеривают и уже раз навсегда безошибочно «обрезают» кусок земли, в которой покоится клад. Лермонтовский клад стоит упорных трудов».

Из этих слов мы можем хорошо представить себе, в каком состоянии находилось лермонтоведение в первом десятилетии нашего века. За годы Советской власти сделано было очень много. Уже не остается загадкой мировоззрение поэта, раскрыта творческая история ряда его произведений, подробно рассказано о подлинных и мнимых друзьях, изучены его письма. Многое для изучения жизни и творчества поэта сделали исследователи И. Андроников, Б. Эйхенбаум, Э. Герштейн, С. Дурылин, Т. Иванова и другие.

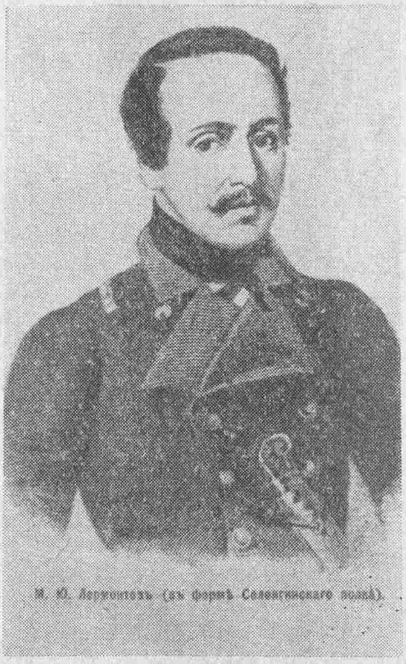
Но есть еще загадки и гипотезы при изучении жизни и деятельности М. Лермонтова, которые ждут своего исследователя. Об одной из таких загадок мы и хотим рассказать.

Недавно в третьем томе «Истории русской словесности» П. Н. Полевого мы увидели портрет Лермонтова работы К. Горбунова. «М. Ю. Лермонтов в форме Селенгинского полка» — такая подпись была под портретом.

Значит, Лермонтов служил в Селенгинском пехотном полку? Но почему тогда ни один исследователь не «заметил» этого?

Мы знаем, что Лермонтов был юнкером, знаем, что он служил в лейб-гвардии гусарском Гродненском полку, в Нижегородском драгунском, наконец, в Тенгинском пехотном! Но в Селенгинском? Нам пришлось пересмотреть многочисленную литературу от журнала «Русская старина», в котором печатались воспоминания современников о Лермонтове, до последних работ И. Андроникова, Т. Ивановой и других. О пребывании Лермонтова в Селенгинском пехотном полку до сих пор никому не известно. Мы позволили себе высказать ряд догадок и предположений, которые при более детальном изучении вопроса, как нам кажется, могут подтвердиться.

Начнем с подписи под портретом. Может быть, произошла ошибка? И вместо «Селенгинский» следует читать


М. Ю. Лермонтовъ (въ формѣ Селенгинскаго полка).

Тенгинский? На этот вопрос есть серьезные возражения.

В 1845 году вышла книга Н. А. Полевого «Русские полководцы или жизнь и подвиги российских полководцев». В предисловии было указано: «Издатель не щадил издержек на свое издание. Портреты, рисованные известным художником Т. Г. Шевченко, и заглавный лист, нарисованный Р. Жуковским, были гравированы на стали знаменитым английским гравером Робинсоном и отпечатаны в Лондоне». Об иллюстрациях к этому изданию тепло отзывался В. Г. Белинский.

П. Н. Полевой, издавая трехтомную историю, вероятно, следовал заветам своего отца, и поэтому его издание «Истории» до сих пор считается роскошным и уникальным как по качеству линогравюр, так и по количеству автографов рисунков и линогравюр. В конце третьего тома сказано, что все рисунки в тексте, а также хромолитографические, автотипические и цинкографическое приложения исполнены в художественном заведении А. Ф. Маркса, а фотографии с натуры и с рукописей исполнены лучшими фотографами Г. Буллой и Г. Гробовским.

Когда вы берете книгу со стихами какого-нибудь поэта, когда читаете его биографию, вряд ли вы представляете, какую огромную, кропотливую работу проделали над этой книгой ученые литературоведы. Целые годы иногда уходят на то, чтобы выяснить, действительно ли какие-нибудь строки принадлежат Лермонтову или Пушкину, чтобы определить точно, когда они написаны и как их сегодня читать. Полевой в этом отношении не исключение. Он очень тщательно подходил к каждому автографу.

Говоря другими словами — столь тщательно подготовленное издание вряд ли могло «перепутать» подпись под портретом М. Ю. Лермонтова.

Если допустить, что все же подпись под снимком неверна? Но ведь после выхода издания в периодической печати могло появиться опровержение в виде заметки, статьи и т. д., тем более, что к этому времени еще были живы лица, знавшие поэта. Из журналов «Русская старина» и «Русский архив» нам известно немало случаев, когда друзья поэта, его знакомые и однокашники «вступались за честь поэта», давая отповедь всем нелепостям и легендам, что появлялись на страницах печати время от времени. Однако из литературы о поэте видно, что нет такой статьи (или заметки), которая бы опровергала подпись под снимком, а значит — Лермонтов действительно служил в Селенгинском полку.

Но может быть, он просто надел форму Селенгинского полка? Ведь рассказывают же о его проделках! Да еще какие истории! Вот что пишет, например, знавший поэта М. Н. Лонгинов в мартовской книжке «Русской старины» за 1873 год: «Лермонтов был очень плохой служака, в смысле фронтовика и исполнителя всех мелочных подробностей в обслуживании и исполнения обязанностей тогдашнего гвардейского офицера. Он частенько сиживал в Царском Селе на гауптвахте, где я его иногда навещал... Весной 1839 года Лермонтов явился к разводу с маленькою, чуть-чуть не игрушечною детскою саблею при боку, несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же арестовал его за это, велел снять с него эту саблю и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, которых привели посмотреть на развод». Тот же Лонгинов вспоминает и о другом факте, когда великий князь «за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира» послал Лермонтова под арест прямо с бала, который давали царскосельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков.

«Может быть, мундир Селенгинского полка — это очередная шутка Михаила Юрьевича? — предположила в разговоре с нами исследовательница творчества М. Ю. Лермонтова, доцент Иркутского университета Анна Леонидовна Рубанович. — Ведь есть свидетельство самого поэта в письме своему другу Святославу Раевскому о том, что он, Лермонтов, «странствовал», одетый по-черкесски».

Опять маскарад? Оказывается, нет. Как нам удалось установить, черкеска с газырями на груди и бурка — это походная форма Нижегородского полка, в котором тогда служил Лермонтов.

Что же касается формы Селенгинского полка, наши доводы и предположения сводятся к следующему.

Можно упрекать поэта за неформенное шитье на воротнике и обшлагах, отправлять на гауптвахту за юношескую шалость — появление на разводе с игрушечной саблей. Но вправе ли мы предположить, что Лермонтов мог появиться в Петербурге зимой 1841 года в «чужом» мундире, не зная, чем вызваны эти странности?

Один из фактов мы постараемся объяснить. Как известно, с августа 1838 года Лермонтов стал одним из ближайших друзей Карамзиных. Он бывал у них и во время больших, парадных приемов, и в будни, часто прибегал к обеду, когда собирался только узкий круг родственников и немногих друзей. Поэт был непременным участником балов, любительских спектаклей, которые затевались у Карамзиных. Репетировал роль Джоната в пьесе-водевиле Эжена Скриба и Мазера «Карантин». Одновременно он репетировал роль еще в одной пьесе, название ее неизвестно, и готовился к выступлению в паре с Елизаветой Николаевной Карамзиной в конноспортивной игре «Карусель», которая должна была разыгрываться в манеже Царского Села. Принять участие в генеральной репетиции и спектакле Лермонтову не пришлось, так как за появление на параде со «слишком короткой саблей», которая была куплена специально для спектаклей, он был «арестован на 21 день».

М. Ю. Лермонтов, отправляясь на развод с игрушечной саблей, вероятно, не подозревал, что этот случай обернется арестом, так как командир гвардейского корпуса великий князь Михаил Павлович хорошо знал поэта по службе и относился к нему доброжелательно. Забегая вперед, скажем, что именно благодаря заступничеству и ходатайству Михаила Павловича в марте-апреле 1840 года был смягчен вынесенный Лермонтову приговор по делу о дуэли с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом.

Генерал-аудитор предлагал выдержать Лермонтова три месяца в крепости и только после этого выписать в один из пехотных полков. После вмешательства великого князя Лермонтова отправили на Кавказ — в Тенгинский пехотный полк — без отсидки в крепости. Михаил Павлович — младший брат Николая I — принадлежал к числу тех военных администраторов николаевской эпохи, которые предпочитали муштровку солдат рискованным предприятиям на поле брани, и даже находил, что «война портит солдата». Приятель Лермонтова К. А. Булгаков был в милости у Михаила Павловича, который несколько раз прощал Булгакову и Лермонтову их совместные шалости. Но появление в Петербурге в «чужом» мундире Селенгинского полка вряд ли бы простил даже благоволивший к Лермонтову Михаил Павлович, да едва ли бы рискнул появиться на светских раутах и у многочисленных истинных и мнимых друзей в непринадлежащем ему мундире и сам поэт, а если бы и решил, то, наверняка, был бы подвергнут гауптвахте. А мы знаем другое.

В феврале 1841 года, после настойчивых хлопот бабушки Лермонтову было разрешено приехать в Петербург в отпуск, для свидания с ней. Именно в этот последний приезд поэта и был сделан портрет в форме Селенгинского полка. Лермонтов приехал в Петербург в начале февраля. По словам М. Лонгинова, поэт «был тогда на той высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский большой свет встретил его с увлечением; он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал двор. В феврале он был приглашен на бал к графине А. К. Воронцовой-Дашковой. Появление опального офицера на балу, где среди гостей находился великий князь Михаил Павлович, привело в негодование дежурного генерала главного штаба графа П. А. Клейнмихеля. Но так как сам Михаил Павлович молчал и не высказывал недовольства, то было неудобно привлечь Лермонтова к ответственности. Чтоб избежать неприятных объяснений с начальством, хозяйка через внутренние комнаты вывела Лермонтова из зала. Недовольство властей появлением Лермонтова на придворном балу осложнило его положение и заставило отказаться от намерения немедленно выйти в отставку.

Когда отпуск у Лермонтова подошел к концу, друзья и бабушка поэта стали хлопотать об отставке. Великий князь Михаил Павлович оказал содействие и отсрочка была разрешена, но в апреле 1841 года Лермонтову неожиданно сообщили приказ П. А. Клейнмихеля — в сорок восемь часов покинуть Петербург и ехать на Кавказ в Тенгинский пехотный полк. Это было сделано по настоянию Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и о выходе его в отставку. Мы вынуждены на этом остановиться подробно, чтоб показать истинные причины недовольства знати и двора поведением поэта. Если бы на балу Лермонтов был в «чужой» форме, значит, это не прошло бы мимо «всевидящего ока» его гонителей.

И еще одна интересная деталь.

Мечтая об отставке, поэт надеялся издавать журнал. Замыслил историческую трилогию. Редакция «Отечественных записок» сообщала: «Замышлено им много, и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценнейшие подарки». Деятельный редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский не только хлопотал о втором издании «Героя нашего времени» и запасался новыми стихами для своего журнала, но даже заказал крепостному художнику К. Горбунову написать портрет поэта. 11 марта 1841 года Краевский писал об этом за границу М. Каткову: «Здесь теперь Лермонтов в отпуске и через две недели опять едет на Кавказ. Я заказал писать с него портрет Горбунову; вышел похож. Он поздоровел, целый год провел в драках и потому писал мало, но замыслил очень много...»

Впервые этот портрет Лермонтова был приложен в виде литографии к первой части «Стихотворений М. Ю. Лермонтова», изданных еще в 1842 году, и с тех пор он воспроизводился много раз, как в виде отдельных изданий, так и в приложениях к сочинениям поэта. «И без преувеличения можно сказать, — замечает И. Веккер в сорок пятом-сорок шестом томе «Литературного наследства» — это наиболее распространенный портрет поэта».

Современники Лермонтова (П. Висковатов, учитель Лермонтова Зиновьев и другие) сходились в мнении, что портрет «более всех схож».

Именно в таком мундире помнили его и петербургские друзья, и товарищи по оружию на Кавказе. Вот что пишет один из образованных офицеров-артиллеристов того времени А. Х. Мамацев: «Я хорошо помню Лермонтова и как сейчас вижу его перед собой то в красной канаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесскою шашкою, как обыкновенно рисуют его на портретах». Кое-что здесь следует пояснить.

Современник Лермонтова Ф. Ф. Вигель писал в своих воспоминаниях: «В военном наряде сделаны перемены гораздо примечательные: широкие и длинные мундиры перешли в узкие и через меру короткие. Низкие отложные воротники сделались стоячими и до того возвышались, что голова казалась в ящике и трудно было ее поворачивать». Не потому ли Лермонтову не нравилась эта форма и он никогда не застегивал доверху мундир и отгибал воротник? Это отмечает немецкий поэт Ф. Боденштедт, когда они встретились во французском ресторане: «Очевидно, он был одет не в парадную форму. У него на шее был повязан небрежно черный платок, военный сюртук без эполет был не нов и не доверху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести тонкое белье». Эта манера по-особенному носить мундир настолько характерна была для поэта, что ее замечали не только друзья, но и случайные его знакомые и попутчики. Вот как описывает встречу с поэтом в Ставрополе весной 1841 года офицер уланского полка Магденко: «Приехав на станцию, я вошел в комнату для приезжих и увидел... Лермонтова в офицерской шинели с отогнутым воротником — после я заметил, что он и на сюртуке своем имел обыкновение отгибать воротник...».

Разные люди, описывая встречи с Лермонтовым в разное время, сходятся в описании мундира. Этот факт, как нам кажется, говорит о том, что поэт носил такой мундир длительное время. Есть тому еще одно веское доказательство. Кроме известного горбуновского портрета, имеется другой, работы художника Зарянко, сделанный, если судить по подписи, после 1840 года. На наш взгляд, это тоже форма Селенгинского пехотного полка, но только парадная. Сюртук черного цвета. И опять Лермонтов с расстегнутым воротников и без эполет.

Тенгинский пехотный полк, куда был назначен Лермонтов в 1840 году, считался самым захудалым полком Кавказской армии. Сюда переводили из других частей провинившихся в чем-либо офицеров или ссылали людей, казавшихся правительству политически опасными. (Царь знал, куда ссылать поэта. Гродненский гусарский полк, куда Лермонтова сослали за дуэль с Барантом, по признаниям современников, также «считался местом ссылки или какого-то чистилища». И через него прошла целая вереница штрафных и разжалованных, от Лермонтова до декабристов). Полк находился на Черноморском побережье — в стороне от тех мест, где шли бои с горцами. Это было Лермонтову не по душе. Еще в юности он писал своей кузине Лопухиной: «Если начнется война, клянусь вам богом, что я всегда буду впереди». С тех пор прошло восемь лет, но Лермонтов по-прежнему верен своим обещаниям. Он не хочет служить в гарнизоне укреплений и добивается перевода в отряд генерал-лейтенанта Галафеева. Вот здесь-то и начинается, на наш взгляд, разгадка.

В конце тридцатых годов девятнадцатого века русское командование сосредоточило на Кавказской линии до шестидесяти тысяч войск, которые были распределены по ее участкам — от Черного до Каспийского морей. Участок от Анапы до Кубани с центром в Екатеринодаре назывался «Правый фланг», участок от Моздока и на юге до Ардена (Северная Осетия) с центром в Ставрополе носил название «Центр», территория от Моздока до берегов Каспийского моря и по реке Кейсу (Сулаку) с центром в крепости Грозной принадлежала левому флангу. Полторы тысячи отборных храбрецов генерала Галафеева и вели боевые действия против Малой Чечни. Положение на Кавказе складывалось в это время неблагоприятно для царских войск. Вождь горцев Шамиль сумел сплотить разрозненные горские народы, и армия его стала грозной силой. Жестокие бои и тяжелые потери не заставили лечь под царскую пяту свободолюбивых горцев. На смену убитым приходили все новые силы. Все племена Дагестана и Чечни поднялись на борьбу с царем. С ними-то и вел боевые действия экспедиционный отряд генерала Галафеева...

Как вспоминает убийца Лермонтова Н. С. Мартынов, в то время существовало следующее положение: по воле государя императора, обнародованной в войсках, ежегодно откомандировывалось по одному обер-офицеру от каждого гвардейского полка или от каждой части в распоряжение начальника Кавказского корпуса с тем, чтобы он по своему усмотрению назначал прибывших к нему офицеров в различные отряды, действующие против неприятеля.

Назначение офицеров происходило двояким образом: или по собственному желанию, заявленному заранее, или по жребию. Там, где желающих не оказывалось, метали жребий. И кто из офицеров вынимал бумажку с надписью «Кавказ», тот отправлялся туда пожинать лавры...

По выражению товарища Лермонтова, офицера Карла Ламберта, в России в ту пору существовали две дороги — первая, доступная единственно для весьма немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж, вторая — открытая для всех остальных смертных — вела на Кавказ. И укатали же эту дорожку до такой степени, что весьма часто случалось офицерам, едущим по казенной надобности, сидеть по трое суток в ожидании лошадей.

Таким образом, поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов, попав на левый фланг действующей армии генерала Галафеева, оказался прикомандированным, по всей вероятности, к Селенгинскому пехотному полку, с 1827 по 1828 год квартировавшему на Кавказе. Только этим можно объяснить тот факт, что в течение 1840—1841 годов Лермонтов носил форму Селенгинского пехотного полка.

В одном из писем Лермонтов сообщал своему другу А. Лопухину: «Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился после двадцатидневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, но пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников...».

10 октября 1840 года Р. И. Дорохов был ранен, и командование его отрядом было поручено Лермонтову, который, по отзыву начальства, «везде первый подвергался выстрелам и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы...». Прикомандированный к Селенгинскому полку Лермонтов командовал дороховским отрядом с 10 по 15 октября, а затем вместе с тем же отрядом принимал участие во второй осенней экспедиции в Малую Чечню с 26 октября по 6 ноября. За участие в экспедициях Лермонтов в конце года был представлен к награждению золотой саблей с надписью «За храбрость». Но в этой награде, как и в последующих, Николай I отказал. Вместо награды на Кавказ пришло строгое предписание, в котором говорилось: «Государь император повелеть соизволил... дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку».

Николай знал, какие жестокие схватки с горцами происходили на левом фланге, которым командовал Галафеев, и потому-то, зная храбрость поэта, отдал такой приказ... Сохранился «Журнал военных действий (действия отряда под начальством генерал-лейтенанта Галафеева на левом фланге Кавказской линии в 1840 году». Он представляет интерес не только как документ, из которого мы узнаем о беззаветной храбрости русских воинов, в том числе и Лермонтова. Для нас он интересен еще и тем, что из журнала мы видим, какие полки находились на левом фланге, а также то, что в отряде Галафеева было много офицеров, прикомандированных к другим полкам на период военных действий. Здесь находились батальоны Мингрельского, Кабардинского, Куринского, Эриванского, Тифлисского, Донского казачьего, Гребенского, Горского, Нижегородского драгунского и других полков.

В журнале военных действий, который (по преданию) вел Лермонтов с 10 апреля по 13 октября 1840 года, отмечены офицеры и солдаты, отличавшиеся в боях: рядовой из разжалованных Житков, прикомандированный к Куринскому егерскому полку, прикомандированные к его светлости (князя Варшавского графа Паскевича Эриванского) полку поручик Орловский и конногвардейского корпуса корнет Глебов, прикомандированные к Мингрельскому полку Эстландского егерского полка майор Бабин, прикомандированный к Куринскому полку Апшеронского пехотного полка унтер-офицер Петровский и, наконец, прикомандированный к Куринскому полку унтер-офицер Тенгинского пехотного полка Малиновский...

Автор книги «Лермонтов на Кавказе» Т. Иванова замечает: «По окончании экспедиций Лермонтов обязан был явиться в свой полк. Штаб-квартира Тенгинского пехотного полка, где он служил, находилась в станице Ивановской. Здесь полк отдыхал на зимних квартирах».

Значит, и Т. Иванова допустила мысль, что поэт в этот период был не в своем полку? Но тогда возникает сомнение, почему же в журнале военных действий не сказано о Лермонтове: «прикомандированный к Селенгинскому пехотному поручик Тенгинского полка Лермонтов»? Как нам кажется, у ведшего дневник Лермонтова, как впрочем и у генерала Галафеева, во всех рапортах именовавшего Лермонтова поручиком Тенгинского полка, на это были свои основания. Каким был Тенгинский полк и кто посылался туда, мы знаем, (подробно об этом см. статью в журнале «Костер» № 3 за 1841 г., стр. 20—27). Но Селенгинский пехотный полк был образцовым, а чтоб читатель мог в этом убедиться, придется немного коснуться истории этого полка.

Осенью 1665 года в Забайкалье, вблизи впадения в Селенгу реки Чикоя, казачий отряд пятидесятника Гаврилы Ловцова и десятника Осипа Васильева, прибывший сюда на парусных дощаниках, основал Селенгинский острог... Через десять лет в Селенгинске находилось до тридцати казачьих дворов и около двухсот служилых и «гулящих» людей. Острог имел одну медную полковую пушку, сорок ядер. Селенгинск, до определения в 1727 году границы России с Китаем и основания Кяхты-Троицкосавска, являлся пограничным пунктом, и потому правительство заботилось о его укреплении. В 1727 году сюда был командирован для фортификационных работ прадед Пушкина, бомбардир-поручик Абрам Петров Ганнибал. Остатки Петропавловской крепости, которую он строил на острове Цаган-Арал, сохранились до сих пор.

Многие монгольские князья хотели установить мирные отношения с Россией, но высшие феодалы Монголии враждебно относились к русскому государству и стремились к захвату Забайкалья. Малочисленность русского населения в Забайкалье явилась поводом для военных столкновений. Китайский император Канси, который считал Забайкалье частью своей территории, заключив союз с монгольским Очирой-ханом, заставил его напасть на Селенгинск. Но попытка Очирой-хана захватить острог потерпела неудачу, так как ссыльный украинский гетман Демьян Многогрешный умело организовал оборону, встав во главе гарнизона, а вскоре и подоспели отряды окольничьего Ф. Головина. Но этот случай обеспокоил царское правительство, и в 1796 г. для защиты границ в Селенгинске был сформирован Селенгинский Мушкетерский полк. Отсюда и начинается летопись этого славного полка. В 1806 году из полка на составление Якутского и Охотского Мушкетерских полков были отчислены восемь рот, а взамен их сформированы новые. А еще через пять лет, названный Селенгинским пехотным, полк был отправлен под Москву и принял участие во всех крупных военных операциях. Особенно прославился полк в боях под Смоленском и Бородином в 1812 году. Задерживая противника, как рассказывают скупые сводки, полк, которым командовал полковник Мещеряков, нанес большой урон французам. В этом бою стойко бился с французами пятнадцатилетний юноша-сибиряк Камаев, пробывший в армии до конца войны. 13 апреля 1813 года Селенгинскому полку был пожалован особый знак «Поход за военное отличие». А в Варшаве был установлен памятник воинам-селенгинцам...

Прошло еще немного времени и селенгинцы отличились в Турецкой кампании 1828—1829 годов. Во всех четырех батальонах солдаты получили знаки на кивера с надписью: «За отличие». Забегая вперед, заметим, что позднее полк получил «Георгиевские трубы», с надписью «За отличие», право барабанного боя за Турецкую кампанию 1877—1878 годов, полковое Георгиевское знамя с подписями «За Севастополь в 1854—55 гг.», высочайшую грамоту и Александровскую юбилейную ленту (1796—1896 годы).

Как видно из этих документов, присланных нам Центральным государственным Военно-Историческим архивом, полк с 1828 года находился на Кавказе. А в хронике полка сказано: «1841 г., декабря 23 в 4-м действующем батальоне, с приведением из полкового в кадровый состав, положено иметь 448 человек». Значит, в период пребывания на Кавказе один из батальонов Селенгинского полка был действующим и, вполне вероятно, входил в один из сводных полков, которые сражались против горцев на левом фланге Кавказской линии... Следовательно, Лермонтов, попав в этот полк или в один из батальонов полка, надел и форму этого полка.

По всей вероятности, Лермонтов был наслышан о сибиряках. Возможно даже, он сдружился и узнал от них много интересного.

Как вспоминает современник Лермонтова Ив. Бенедиктов (см. «Русский архив», 1891, статья «За 60 лет»), попасть в образцовый полк (а Селенгинский, как мы видим, был именно таким) было высшим желанием армейского офицера. Офицер, вернувшийся из образцового полка, был уже на виду у начальства для будущих повышений.

Генерал Галафеев, зная смелость и бесстрашие Лермонтова, писал в рапорте царю о поручике Тенгинского полка потому, что напиши он — «Селенгинский», — досталось бы и Лермонтову, и генералу. Что стоило Лермонтову «подружиться» с опальными декабристами? А что хорошего принесло бы поэту, по мнению царя, общение с воинами-селенгинцами? Селенгинцы, конечно, переписывались с односельчанами, рассказывали им о войне, а те, в свою очередь, писали о живущих в Селенгинске «государственных преступниках» Михаиле и Николае Бестужевых. (О том, что такая переписка существовала, мы не сомневаемся, ибо нами найдены материалы, опубликованные в Иркутске в епархиальных водомостях за 1867 год, касающиеся переписки воинов-селенгинцев в период Крымской кампании в 1854—1856 годов.

Как установлено недавно, в далекой Сибири к творчеству Лермонтова проявлялся большой интерес. О нем говорили и среди декабристов, и среди их друзей. Сибирский литератор и краевед А. А. Мордвинов писал из Нерчинска декабристу-поэту В. К. Кюхельбекеру:

«Только поэтический талант Лермонтова ярко и резко отличается от других».

Честь мундира Селенгинского пехотного полка была дорога поэту не только потому, что полк был прославленный, но, вероятно, и потому, что в сибиряках он видел своих друзей. От них он узнал о декабристах. И как теперь стало известно из последних исследований, о них он знал все.

Очень может быть, в семейных архивах селенгинцев могут обнаружиться материалы, подтверждающие знакомство и дружбу поэта с воинами-селенгинцами.

ВАСИЛИЙ ТРУШКИН

РАННИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Сибирский период в жизни и творчестве поэта

В Сибири в конце двадцатых годов начался творческий путь Павла Васильева, поэта сложного и противоречивого, вокруг литературного наследия которого и поныне не затихают страсти, уходящие своими истоками еще к самому началу тридцатых годов. О нем и сейчас говорят и спорят также горячо и пристрастно, как и в те далекие годы, спорят так, словно не прошло десятилетий после преждевременной гибели поэта и словно речь идет о нашем современнике.

Возрождение интереса к наследию и личности этого самобытнейшего художника слова началось с яркой, талантливой, может быть, излишне апологетической статьи К. Л. Зелинского «Павел Васильев», опубликованной в четвертом номере журнал «Октябрь» за 1957 год. В том же году в Гослитиздате выходит первый по времени однотомник избранных произведений поэта. Как известно, при жизни Васильеву, несмотря на неоднократные попытки, не удалось издать ни одного сборника своих стихов, если не считать отдельного издания поэмы «Соляной бунт» (М., 1934).

Посмертное издание произведений поэта и первые статьи о нем К. Л. Зелинского оживили давно умолкнувшие литературные баталии, сопровождавшие прижизненные, порой с привкусом скандала выступления и ресторанные похождения Павла Васильева, вызвавшие в свое время суровое осуждение А. М. Горького.

Так или иначе, но в оценке поэзии Павла Васильева сразу же определились и выявились две прямо-таки полярные точки зрения. Одна из них наметилась в работах Корнелия Зелинского, Павла Косенко, в статьях Сергея Залыгина. Вторая — получила наиболее отчетливое выражение в высказываниях Анатолия Коваленкова. Несколько иную позицию занял в этом вопросе покойный ныне критик Александр Макаров, автор широко известной статьи «Разговор по поводу». Нельзя не согласиться с исходным тезисом этого критика, направленным против односторонне апологетического истолкования сложных и противоречивых явлений в советской литературе двадцатых—тридцатых годов.

Очевидно, чтобы объективно разобраться в поэзии Павла Васильева, следует прежде всего обратиться к вдумчивому, исторически-конкретному изучению творческого пути поэта в тесной взаимосвязи с его эпохой. К сожалению, такого обстоятельного исследования в нашем литературоведении пока еще нет. О творчестве поэта в последние годы появилось несколько статей (о них частично уже говорилось), в которых это творчество рассматривается лишь в общем, крайне «суммарном» виде, без детального анализа становления и развития метода тематики, образной системы в поэзии Васильева. Даже в единственной пока монографии о нем П. Косенко «Павел Васильев. Повесть о жизни поэта» лирика и эпос этого оригинального художника слова не стали предметом пристального, специального исследования. Конкретное изучение творчества поэта уступило место в монографии разбору полемики вокруг его личности и литературного наследия, разного рода биографическим и историко-литературным материалам. По верному замечанию рецензента, «критик остановился на пороге поэзии Васильева, не шагнул в ее богатые владения.... Необходим же, конечно, специальный, серьезный разговор об этой поэзии»[1].

Не задаваясь целью охарактеризовать весь в целом творческий путь поэта, постараемся проследить его ранний период, связанный с Сибирью и Дальним Востоком, попробуем беспристрастно разобраться в том, что же в действительности представляла из себя поэзия Павла Васильева, каковы ее истоки?

Человек недюжинного, яркого дарования, впервые пробудившегося еще в раннем детстве, он многим был обязан в своем поэтическом развитии окружавшей его среде, первым жизненным впечатлениям, которые он вбирал и впитывал в себя с неуемной, ненасытной жадностью. Детские и отроческие годы его (поэт родился 25 декабря 1910 года в заштатном уездном городке Зайсане, близ китайской границы, в семье учителя, потомственного казака) прошли среди прииртышского казачества. Петропавловск, Павлодар, привольные казачьи станицы — вот они, родные места, что сформировали музу Павла Васильева и на протяжении ряда лет питали его творчество.

Сочное, ядреное народное слово, раздумчивая песня и озорная, задиристая частушка, предания и сказки, которыми щедро одаривали внука дед и бабка, здоровые, цельные народные характеры, во многом устойчивый патриархальный быт — все это вошло в его поэзию во всей своей первозданности красок и образов. Неизгладимое впечатление в детской душе его оставили и события гражданской войны, принявшей в Семиречье особенно ожесточенный и драматический характер. Разгул атамановщины «лихого» Анненкова, втянувшего в свои банды многих казаков, и последующий сокрушительный крах его авантюры прошли на глазах впечатлительного десятилетнего подростка, многого еще не понимавшего, но рано повидавшего смерть и жестокость, горе осиротевших детей и слезы овдовевших молодых казачек. Со временем все это отзовется щемящей нотой в первой поэме Васильева «Песня о гибели казачьего войска».

Довольно рано проявилась в характере Павла Васильева и еще одна черта, обусловленная, очевидно, и средой, воспитавшей его, и всей сложной, подчас нездоровой обстановкой времен нэпа, да и просто складом самого характера, — его анархическое бунтарство и озорство. В 1925 году пятнадцатилетним подростком он бежит из дому после очередной «молодеческой» проделки: в одну из ночей Павел забрался каким-то чудом на купол колокольни самой известной в Павлодаре Крестовоздвиженской церкви и срубил с нее крест. Пароходом добрался он до Омска, а оттуда маханул поездом во Владивосток. Так началась в его жизни полоса бурных похождений и одновременно напряженной, интенсивной творческой работы; то и другое поэт как-то умудрялся сочетать между собою.

---

[1] Е. Любарева. Повесть о жизни поэта. «Вопросы литературы», 1968, № 12, стр. 157.

Первый владивостокский период в жизни Васильева слабо исследован. В литературе о нем содержатся разноречивые сведения. По словам биографа поэта П. Косенко, Васильев, приехав во Владивосток, «поступил в мореходное училище, прибавив себе два лишних года»[1]. С. А. Поделков, издатель последнего, наиболее полного однотомника поэта, человек, в свое время близко знавший Васильева, в биографической справке о чем сообщает, что в Владивостоке П. Васильев «поступает в университет на японское отделение факультета восточных языков»[2]. По-видимому, сведения Сергея Поделкова заслуживают большего доверия. В пользу последнего говорит, между прочим, и первое публичное выступление поэта, состоявшееся в ноябре 1926 года в актовом зале университета. Организаторами этого выступления были поэты и журналисты, близкие друзья Сергея Есенина, Рюрик Ивнев и Лев Повицкий, оказавшиеся в то время во Владивостоке. В письме к К. Л. Зелинскому Лев Повицкий так рассказывает об этом событии: «Я с ним был дружен. Я впервые встретил его во Владивостоке в 1927 году. Ему тогда было семнадцать лет. Я и Рюрик Ивнев — мы оба случайно очутились там — организовали первое его публичное выступление. Он читал стихи, а было их всего не более десяти... Читал он их уверенно и твердо, как зрелый мастер, знающий цену вещам. Он и в те годы был уже таким, каким я позже знал его в Москве, — зрелым, знающим работу. И тогда Васильев нанапоминал мне молодого Есенина, которого я близко знал. Васильев, как и Есенин, глубоко национален. По богатству языка и подлинной народности его сравнишь не с многими из пиитов. Он громоздил глыбы образов, устремляясь к песне и простоте»[3].

6 ноября 1926 года Павел Васильев впервые выступил в печати. В это время во владивостокской газете «Красный молодняк» появилось его стихотворение «Октябрь».

Вскоре он возвращается в родные места, живет в Омске и Новосибирске, сближается с местными литераторами —прозаиком Н. И. Ановым, поэтами Николаем Титовым, Евгением Забелиным и другими. Во второй половине 1928 года Павел Васильев вместе с Николаем Титовым отправляется в новое длительное путешествие по Сибири и Дальнему Востоку. Отголоски этих поюношески беспутных и бездумно жизнерадостных бродяжнических скитаний нашли отражение в шутливом стихотворении «Сонет», созданном в 1929 году.

«Суровый Дант не отвергал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал...»
А я брожу с сонетами по свету
И мой ночлег — случайный сеновал.
На сеновале — травяное лето,
Луны печальный розовый овал.
Ботинки я в скитаньях истоптал,
Они лежат под головой поэта.
Привет тебе, гостеприимный кров,
Где тихий хруст и чавканье коров
И неожидан окрик петушиный...
Зане я здесь устроился как граф!
И лишь боюсь, что на заре, прогнав,
Меня хозяин взбрызнет матерщиной[1].

Путешествия и странствования поэта по просторам родной страны продолжались до глубокой осени двадцать девятого года, когда переполненный множеством разнообразнейших впечатлений, он приехал, наконец, в Москву и с головой ушел в литературную жизнь столицы.

Во время второй своей поездки на Восток Васильев побывал во многих городах Сибири, исколесил многие дороги, перепробовал немало профессий. Матросом он плавал по Оби и Амуру, работал старателем на северных золотых приисках, был репортером и культработником. Не обходилось в этих странствованиях и без срывов, подчас скандальных. В новосибирском журнале «Настоящее» в то время появилась статья, резко осуждавшая пьяные похождения двух молодых поэтов. Многое еще не перебродило и бунтовало, как молодое вино, в этой беспокойной натуре в те годы, как, впрочем, и позднее, вплоть до преждевременной гибели в двадцатишестилетнем возрасте. Нередко эксцентрические выходки поэта заслоняли от современников здоровое, жизнестойкое начало в его поэзии, отбрасывали на эту поэзию зловещую тень. Далеко не каждый мог о нем сказать словами друга:

---

[1] П. Косенко. Павел Васильев. Повесть о жизни поэта. Алма-Ата, 1967, стр. 38.

[2] С. Поделков. Павел Васильев (биографическая справка). В кн.: «П. Васильев. Стихотворения и поэмы». Л., 1968, стр. 23.

[3] Цит. по статье К. Зелинского. «Павел Васильев». В кн.: «П. Васильев. Избранные стихотворения и поэмы». М., 1957, стр. 5. Л. Повицкий ошибочно называет дату выступления поэта. Речь идет о 1926 годе.

[1] Павел Васильев. Стихотворения и поэмы. Л., 1968, стр. 55. В дальнейшем все цитаты из стихов поэта даются по этому изданию.

Веселый и беспутный озорник,
Весь, словно сотканный из вдохновенья,
Вошел он в мир моих любимых книг
Поэзией могучего цветенья[1].

В сознание многих современников Павел Васильев входил с определенно минусовым знаком. От такого одностороннего представления кое-кому трудно отрешиться даже и в наше время.

Период дальневосточных скитаний нашел свое отражение в двух первых книгах очерков Павла Васильева —«Люди в тайге» и «В золотой разведке», вышедших в 1931 году в Москве. Это же время было и началом поэтического пути Васильева. В 1927—1928 годах стихи его стали часто появляться в газетах Омска и Новосибирска — «Рабочий путь» и «Советская Сибирь», в журнале «Сибирские огни». На страницах «Рабочего пути» впервые увидели свет такие его стихотворения, как «Незаметным подкрался вечер», «Песня об убитом», «Водник», «Поход», «Урманная страна», «Вступление к поэме «Шаманья пляска». В «Сибирских огнях» были опубликованы «Рыбаки», «Письмо», «Октябрь», «Все также мирен листьев тихий шум», «Пушкин», «Сибирь», «Прииртышские станицы», «Азиат» и другие.

В 1928 году в Омске поэт усиленно работал над первой своей поэмой «Прииртышье». В мае того же года он с большим успехом читал ее на вечере омских литераторов. В отделе хроники омской газеты «Рабочий путь» так оценивалось это выступление поэта: «Стихи Васильева, чрезвычайно экспрессивные, остросюжетные и мелодичные, в мастерском чтении автора оставили у слушателей прекрасное впечатление. Совершенно исключительный успех имела поэма «Прииртышье» о прииртышском казачестве, написанная в форме «казачьих запевок». Далее здесь сообщалось, что выступившие при обсуждении поэмы литераторы признали «Прииртышье» крупнейшим явлением в сибирской поэзии за истекший литературный год»[1].

Исследователи творчества Павла Васильева считают поэму утерянной. Так, С. Поделков пишет по этому поводу: «К сожалению, поэма не была опубликована и рукопись ее пока не найдена»[2]. В другой своей заметке о поэте С. Поделков снова повторяет эту же мысль: «Не все написанное Павлом Васильевым разыскано. Будущим исследователям его творчества предстоит найти поэмы «Прииртышье», «Шахтеры», «Первая конная», утраченные лирические стихи»[3]...

Это явное недоразумение. Рукопись поэмы никуда не исчезала. Исследователей ввело в заблуждение ее название «Прииртышье». Позднее оно было переименовано поэтом в «Песню о гибели казачьего войска». В пользу этого говорит как содержание «Песни», так и композиционно-образный строй ее. Она действительно выдержана в форме тех самых «казачьих запевок», о которых говорилось в заметке газеты «Рабочий путь».

«Песня о гибели казачьего войска» вся расцвечена живописными песенными узорами. Многие главки ее начинаются песенным зачином. «Что же ты, песня моя, молчишь? Что же ты, сказка моя, молчишь?» (гл. 1); «На моей на родине не все дороги пройдены» (гл. 2); «Кони без уздечек, пейте зарю, я тебя, касатка, заговорю» (гл. 5); «Ты скажи мне, сестра, чей там голос у тебя, чей там голос ночью раздавался?» (гл. 6). Песенными фольклорными мотивами насыщен густо и весь текст поэмы. «Эх, Иртыш, родна река, широка дорога»; «У тебя кольцо горело на руке, о ту пору птаха пела вдалеке»; «Как летела пава через сини моря, уронила пава с крыла перышки».

Об идентичности текста «Песни о гибели казачьего войска» с текстом якобы утерянной поэмы «Прииртышье» свидетельствует и следующий факт. В 1928 году в четвертом номере «Сибирских огней» поэт опубликовал стихотворение «Прииртышские страницы», которое, судя по всему, было фрагментом из поэмы «Прииртышье». Позднее оно полностью вошло в «Песню» в качестве двенадцатой главы ее. Таким образом, с известной определенностью можно утверждать, что «Прииртышье» представляло из себя не что иное, как первоначальный вариант поэмы «Песня о гибели казачьего войска», а не являлось самостоятельным произведением. Возможно, позднее автор в чем-то переработал и дополнил ранний текст. Этому допущению противоречит как будто свидетельство самого поэта. В 1933 году, готовя к изданию, позднее не осуществившемуся, очередной свой сборник «Стихи», поэт сделал приписку: «Поэма начата в 29 г., кончена в 1930 году»[1]. Однако в действительности же это авторское свидетельство не меняет сути дела. Восстанавливая по памяти спустя пять лет начало работы над поэмой, поэт мог ошибиться в датировке, вместо 1928 датировать ее 1929 годом. Публикация же в 1928 году упоминавшегося уже фрагмента «Прииртышские станицы» говорит о возможности такой ошибки памяти. Во-вторых, эта датировка может свидетельствовать и об окончательной обработке произведения.

---

[1] Н. Титов. Павел Васильев. В кн., «Поэты 20—30-х годов». Новосибирск, 1965. стр. 254.

[1] «Рабочий путь» (Омск), 1928, № 116, 20 мая.

[2] С. Поделков. Павел Васильев (биографическая справка). В кн.: «Павел Васильев Стихотворения и поэмы». Л., 1968, стр. 24.

[3] С. Поделков. О Павле Васильеве. В сб.: «День поэзии». М., 1968, Изд. «Советский писатель», стр. 176.

Уже в этой первой по времени поэме Павла Васильева, оставшейся неопубликованной при жизни поэта («Песня о гибели казачьего войска» была снята из подготовленного к печати номера «Нового мира»), поэме, породившей немало кривотолков, проявилось незаурядное мастерство ее автора, явное тяготение его к эпическому изображению действительности. И, конечно же, в ней не было ни кулацких настроений, ни сочувствия белогвардейщине, которые усмотрела в произведении современная Васильеву критика.

В «Песне о гибели казачьего войска» автор стремится отойти от однолинейно плакатного изображения врага. Вражеский стан показан им «изнутри», с максимальным приближением к реальной действительности. Такой метод художественного освоения исторических событий времен гражданской войны близок был по сущности и характеру своему к методу Багрицкого с его «Думой про Опанаса», художественным приемам автора «Тихого Дона». Это отнюдь не случайное сближение. Весьма показательно, что близость творческого метода названных писателей, их художественных принципов привели и к однотипности обвинений этих авторов. Шолохова ведь тоже упрекали и в пристрасти к реакционной романтике, и в сочувствии белогвардейщине, Эдуарда Багрицкого, изничтожали за «клевету» на украинский народ.

Объективный анализ «Песни о гибели казачьего войска» не оставляет никаких сомнений в подлинных симпатиях и антипатиях поэта, в его позиции.

Эпитет «черный» постоянно сопровождает в поэме описание казаков из лагеря атамана Анненкова. Впервые он возникает при изображении начала похода:

Ярки папахи и пики остры,
Всходят на знамени черепа,
Значит, недаром бились костры
В черной падучей у переправ.

Затем идет «черное дерево — карагач», стерегущее на пути казачье войско. Его сменяет «черный ветер», что «с Поречья дул» в главе, звучащей надгробным реквиемом над казаками, пошедшими навстречу гибели.

Торопи коней, путь далеч,
Видно вам, казаки полечь.
Ой, хорунжий, идет беда,
У тебя жена молода,
На губах ее ягод сок,
В тонких жилках ее висок,
Сохранила ее рука
Запах теплого молока.
Черный ветер с Поречья дул,
Призадумался есаул.

Мотив обреченности усиливается кольцевой концовкой: «...Неизвестен путь и далеч, видно, вам, казаки, полечь». Этот мотив гибели, краха неправого дела, предчувствия конца нарастает от главы к главе, и подан он с большим эмоциональным напором. Исподволь начинается звучание уже в первых главах «Песни».

На гнедых конях летаем,
Сокликаемся,
Под седой горой Алтая
Собираемся.
Обними меня руками
Лебедиными,
Сгину, сгину за полями
За полынными.

---

[1] Павел. Васильев. Стихотворения и поэмы. Л., 1968, стр. 609.

Кульминационного своего накала эти настроения роковой неизбежности поражения, неотвратимости возмездия достигают в сцене с атаманом, превратившим полстраны в зарево пожарищ и пепелищ. Здесь снова появляется эпитет «черный» применительно к белогвардейским знаменам, а казачье войско оказывается «волчьим косяком», загнанным в тупик. Лирическая окрашенность сцены, авторские обращения в духе песенной традиции к предводителю войска усиливают ее трагедийное звучание. Возникающие образы разгулявшегося бурана, несметных полчищ воронья обрамляют эту выразительную, символическую по-своему картину.

Белоперый, чалый, быстрый буран,
Черные знамена бегут за Зайсан;
А буран их крутит так и сяк,
Клыкастый отбитый волчий косяк.
Атаман, откликнись, по чьей вине
Полстраны в пожарах, в дыму, в огне?
Атаман, откликнись по чьей вине
Коршуном горбатым сидишь на коне?
Белогрудый чалый, быстрый буран,
Черные знамена бегут за Зайсан.
Впереди вороны в тринадцать стай,
Синие хребтины, желтый Китай.
Позади как пики торчат камыши,
Полк Степана Разина и латыши.
Настигают пули волчий косяк,
Что же ты нахмурился, молчишь казак?
Поздно коня свертывать, поди, казак,
Рассвет как помешанный пляшет в глазах
Обступает темень со всех сторон,
Что побитых воронов — черных знамен.

Спрашивается, где тут сочувствие к белогвардейщине?! Глубоко эмоциональное поэтическое раскрытие темы отнюдь нельзя принимать за реабилитацию белого движения, нельзя смещать эти разные понятия.

Эпическое начало отчетливо звучит и в ранней лирике Павла Васильева. Поэт тяготеет к сюжетным стихам, к живописным, броским эпитетам и картинам. Правда, в первых произведениях его еще нет того буйства образов и красок, которое отличало позднее Васильева. Все эти качества здесь еще только-только намечаются. Но уже и в ранних опытах бросается в глаза живописность деталей, неожиданная свежесть поэтических тронов. В стихотворениях владивостокского периода, датированных 1926 годом, — «Незаметным подкрался вечер», «Бухта» и других — можно встретить «длинные шаткие тени», что «лапами в небо метят». Бухта у него, оказывается, пронизана «лунными иглистыми лучами», и оттого кажется, что «она вздрагивает синими плечами», или тут же: «Белым шарфом пена под веслом, темной шалью небо надо мною».

В стихах шестнадцатилетнего поэта впервые появляется и столь характерный для зрелого его творчества прием поэтического усиления, своеобразной гиперболизации, когда предметы и явления окружающего мира рассматриваются точно сквозь увеличительное стекло: «здесь в сорок лет не перебить от корма ожиревшей птицы». И далее:

Не в меру здесь сердца стучат,
Не в меру здесь и любят люди,
Под тонкой кофтой у девчат
К четырнадцати набухают груди.
(«Там, где течет Иртыш». 1927).

В стихотворении «Рыбаки» возникает фигура иртышского рыбака, который выглядит под пером поэта этаким раблезианским богатырем с неуемной бунтующей кровью, с первобытным буйством и радостью плоти. Вот как выписана эта по-фламандски сочная картина с портретами рыбаков:

На вечерках, разомлев в угаре,
Пьет из чашки самогонный спирт
И потом на неуклюжих нарах
до рассвета непробудно спит.
Рыбаки — известные буяны,
Это знает весь Зайсан. —
Словно птицы — бабьи сарафаны,
Как пойдут по горенке плясать.
В темных сенцах, где разложен невод,
Как закружит, зашумит гульба,
С хрустом жмут ширококостных девок
И грудастых мягкотелых баб.

Самобытное мастерство поэта росло быстро и стремительно. В какие-нибудь двадцать лет он становится уже вполне сложившимся, зрелым мастером, знающим цену полновесному живописному слову. Поэтические уподобления и образы его поражают неожиданной новизной и смелостью, остротой и силой восприятия, интенсивностью, какой-то неумеренной избыточностью ощущений, перенасыщенностью их, неуемным буйством чувств, жадно раскрытых навстречу большому миру. Запахи, цвета, звуки, предметы и явления этого мира берутся и пропускаются поэтом как будто через какой-то своеобразный увеличитель, через тот самый «магический кристалл», который позволяет ему превращать в золото поэзии, казалось бы, самые заурядные прозаические вещи, многократно усиливая их и значительную сущность. Вода у него обязательно отливает «звонкой радугой окуней», а «тальник, отсырев, набирает соки заре». Закат спускается «багряным крылом... на черный речной камыш».

Васильев избегает нейтральности описаний. Лирика его необычайно экспрессивна. В ней все бурлит и клокочет. Особую значимость здесь начинают приобретать глаголы, несущие в себе заряд эмоциональной энергии, экспрессии, большого напора чувств. «Земля, набухшая, гудит и томится несобранной силой косматых снопов», «По чашкам, урча, бушует кумыс», «Дуреет от яблонь весна в Алма-Ата», «Багровою сиренью набухал купецкий город».

Поэт любит эти экспрессивно окрашенные глаголы, передающие состояние одержимости, ярого, неистового проявления жизни. Даже привычный рассвет у него не просто приближается или наступает, а обязательно «ударяет» во всем своем великолепии: «Голубизной и вскипающей кровью по небу ударил горячий рассвет».

А как по-разному, оказывается, можно сказать о наступлении ночи. В одном случае это будет выглядеть так: «Кружилась за окнами ночь, рябая от звезд, сирени и светляков» («Рассказ о деде», 1929 г.) В другом мы увидим ее иначе:

Листвой тополиной и пухом лебяжьим,
Гортанными криками
Вспугнутых птиц
По мшистым низинам,
По склонам овражьим
Рассыпана ночь прииртышских станиц.
(«Песня», 1930).

Излюбленный прием Васильева, как уже говорилось, — поэтическое усиление. О горечи полыни он может сказать: «Полыни горьки, как тоска полонянок, как песня аулоз, как крик беркутов» («Киргизия», 1930). Он напишет о том, как «в травах густых тяжело поднимаются жарким рассветом перезревшие солнца обветренных тыкв», как «перехлестнута звонкою лентой бурьяна, первобытною силой взбухает бахча» («Бахча под Семипалатинском», 1930). А вот движение облаков на рассвете: «И горизонт перевернутый, сдвинув, снегами сияя издалека, на крыши домов натыкаясь, как льдины, сплошным половодьем пошли облака».

Обилием аллитераций, внутренних ассонансовых рифм, богатой звукописью расцвечены многие уже ранние стихотворения. Эта игра со словом отчетливо проступает, например, в стихотворении «Ярмарка в Куяндах».

Над степями плывут орлы
От Тобола до Каркаралы.
И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару.
Горький ветер трясет полынь
И в полоне Долонь у дынь...

Искусной вариацией этих строф поэт открывает и завершает свое стихотворение, придавая ему кольцевое обрамление, отточенную звуковую инструментовку.

Нередко ярко расцвеченные, пышные образы в стихах Васильева гармонически сплавлены с тончайшим, проникновенным лиризмом. Так, в стихотворении «Глафира» можно встретить такое сочетание образов: «И вразнобой кричали петухи в глухих сенях, что пьяные бояре» и тут же рядом интимно-лирическое: «Припомни же рябиновый закат, туман в ночи и шелест тополиный».

Образная система раннего Васильева тяготеет к опредмеченной вещественности, «осязаемости» поэтического рисунка. Луна у него «словно желтый гребень, запутавшийся в волосах», «поющий ветер» перебирает «струны сосен», а «заря поднимает бубен алый». О вечернем закате он обязательно скажет: «Окровавленным упал закат в цветном дыму вечернего простора». Иногда на его ранней поэтике сказывается ощутимое влияние Есенина: «Здесь камыш, набухший и высокий, ловит нити лунных паутин». Весьма примечательно, что такое влияние явственнее всего чувствуется в стихах, насыщенных раздумьями поэта о родине.

Тема советской родины — один из основных и ведущих мотивов в раннем творчестве Павла Васильева. Поэт не устает из стихотворения в стихотворение писать о своей сыновней любви к ней. В 1927 году он создает стихотворение «Все также мирен листьев тихий шум». Оно выдержано в есенинских интонациях, согрето глубоким чувством душевной близости, связи с родной страной.

Моя республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.
Пусть жизнь глядит холодною порой,
Пусть жизнь глядит порой такою злою,
Огонь во мне, затепленный тобой,
Не затушу и от людей не скрою.

Поэт готов стать «простым солдатом»

в рядах ее защитников, ибо не в силах быть безучастным к ее судьбам, быть сторонним наблюдателем.

Я не хочу и не могу молчать,
Я не хочу остаться постояльцем,
Когда к Республике протягивают пальцы,
Чтоб их на горле повернее сжать.

Во «Вступлении к поэме «Шаманья пляска» (1927) мы снова встречаемся с взволнованным обращением к «моей стране», согретым верой в ее преображение.

Моя страна, мы встретились опять:
Хранишь ты прежнюю угрюмую дремучесть,
Но я давно уж начал понимать,
Что ждет тебя совсем иная участь.

В это время поэт создает «Песню об убитом», в которой возникает лирически окрашенный образ погибшего некогда большевика. Автор находит интересный ракурс для раскрытия своей темы, поданной в мягких, задушевных тонах. Одинокий тополь, стоящий на краю заросшего тальником оврага, хранит следы остывших пуль, как память об убитом когда-то здесь коммунисте. Прошумели годы, но печаль о погибшем живет в сердце лирического героя. На месте некогда разыгравшейся трагедии продолжается жизнь, сюда приходят влюбленные.

И в час, когда с любимою встречались
В последний раз под лунною листвой,
Я ей шепнул в узор широкой шали,
Я ей шепнул: «Любимая, постой!
Мне нежных слов сейчас не говори ты,
Сейчас куда пристойней помолчать.
Ты слышишь, тополь песню об убитом
Поет листвой под тихий звон ручья?
Ты видишь, там — и медленно и туго
Свивает кольца голубые дым?
Давай же вместе с закадычным другом
И мы с тобой немного погрустим!»

В одном из юношеских произведений П. Васильева («Письмо») содержится его своеобразное поэтическое кредо. Он горячо верит в свое призвание художника — «суждено мне неуемной песней в этом мире новом прозвенеть». П. Васильев отстаивает право поэта на независимость творчества, право быть самим собой, ибо, по его мнению, за лживым словом и в жизни и в искусстве скрывается «припрятанный удар». Он не хочет петь по указке рапповских критиков. С полемическим задором Павел Васильев декламирует:

По указке петь не буду сроду. —
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Противясь рапповским установкам, Васильев ратует за полную творческую самостоятельность. «Пусть свободной будет бег пера!» — вот его лозунг. Вместе с тем отстаивание свободы творчества, столь естественное в условиях групповщины, насаждавшейся рапповской ортодоксии, для Васильева отнюдь не означало ни защиты «чистого искусства», ни отстранения от животрепещущих общественных проблем современности, ни тем более, от политики. Скорее наоборот. Все его раннее творчество насыщено гулом времени, волнениями его эпохи. Он пишет о революционном пробуждении Китая («На берегах Янцзы»), к десятилетию Октябрьской революции создает стихотворение «Октябрь», не раз в стихах своих говорит о возрождении советской Сибири, о первых социалистических стройках.

Я уж давно и навсегда бродяга,
Но верю крепко: повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи.

(«Сибирь», 1928).

На рубеже двадцатых—тридцатых годов из-под его пера выходят стихи о Турксибе, о совхозах Средней Азии, о женщинах-коммунистках и их самоотверженном участии в революции, в строительстве новой жизни. В стихотворениях «Расказ о Сибири», «Киргизия», «Товарищ Джурбай», «Путь в страну», «Турксиб» и других поэт не устает воспевать социалистические преобразования в родной стране.

Совхозы Киргизии!
Травы примяты.
Протяжен верблюжий поднявшийся всхлип.
Дуреет от яблонь весна в Алма-Ата,
И первые ветки
раскинул Турксиб.

О Турксибе он пишет много и каждый раз по-новому, стремясь в неожиданном поэтическом ракурсе подать эту животрепещущую в те годы тему. В одном случае он скажет о том, как «от Сибири к Ташкенту без удержу мча, грузовые составы слагают поэмы», в другом напишет: «Почетными огнями семафоров отмечен путь составов и ветров». В третий раз найдет для выражения своей мысли такой емкий, насыщенный аллитерацией образ: «Разостлав по откосу подкошенный дым, паровозы идут по путям человечьим».

Меняются привычные пейзажи, а с ними изменяется и жизнь. И эти перемены радуют поэта.

Где камыши тигриною Балхаша
Качают зыбь под древней синевой,
Над пиками водонапорных башен
Турксиб звенит железом и листвой,
И на верблюжьих старых перевалах
Цветет урюк у синих чайхане,
Цветут огни поднявшихся вокзалов,
Салютуя разбуженной стране.

В стихотворении «Товарищ Джурбай» возникает образ лирического героя, отдавшего жизнь за революцию. Этот образ подан не нейтрально. Он живет в сознании поэта, ведущего взволнованный разговор с погибшим героем, проникнутого чувством единения с ним.

Товарищ Джурбай!
Не заря ли видна
За этим пригнувшимся склоном?
Не нас ли с тобой
Вызывает страна
Опять — как в боях — поименно?

Так, уже в ранней лирике его мы нередко встречаемся с раздумьями о судьбах поколений, о непрекращающейся эстафете жизни. Поэт словно хочет сказать, что на земле ничто не проходит бесследно, и жизнь свершая свой извечный круговорот, продолжается. Не случайно свой «Рассказ о деде» он завершает строчками о молодости, идущей на смену отжившим и ушедшим.

Я молодость слышу в птичьем крике,
В цветенье и гамме твоих болот,
В горячем броженье свежей брусники,
В сосне, зашатавшейся от непогод.

Жизнь неистребима, и смерть не властна над нею. Молодой дуб, вырастающий на могиле деда, как бы символизирует в представлении поэта это всесилие жизни, ее продолжение.

Он череп развалит, он высосет соки,
Чтоб снова заставить их жить и петь,
Чтоб встать над тобою крутым и высоким,
Корой обрастать и ветвями звенеть!

Поэзия Павла Васильева, кипучая, бурная, как жизнь поэта, создавалась на рубеже двадцатых—тридцатых годов, в период острейшей борьбы с кулачеством. Естественно поэтому то обостренное внимание, с каким он подходил к этой жгучей проблеме своего времени. Поэт рано научился мастерски воспроизводить и рисовать в своем творчестве отталкивающий, отвратный мир собственников с его «звериным уютом». В посмертно опубликованном стихотворении «Мясники», относящемся к 1929 году, он воссоздает почти гротескный облик этого ненавистного ему царства стяжателей.

Сквозь соску половиц прорастает трава,
Подымая зеленое шумное пламя,
И теленка отрубленная голова,
На ладонях качаясь, поводит глазами.

Густая «фламандская» образность, весь антураж стихотворения, изобилующего сочными «натюрмортами», последовательно проведенный параллелизм между самодовольными хозяевами-мясниками и снующими тут же голодными псами направлены на то, чтобы вызвать у читателя чувство гадливости и отвращения к этому страшному «звериному уюту». Вот как выглядит образная система в стихотворении «Мясники». «Терпкий запах плывет из раскрытых отдушин», «На изогнутых в клювы тяжелых крюках мясники пеленают багровые туши», «Мясники засмеются и вытрут ножи о бараньи сановные пышные баки». Даже шиповник, расцветший в палисаднике, вызывает мысль о жестокости, о крови — «В палисадниках шиповника сыплется цвет, как подбитых гусынь покрасневшие перья». Такова обстановка, окружающая «хозяев». Не лучше ее и сами обитатели.

И, собравшись из выжженных известью ям,
Мертвоглавые псы, у порога залаяв,
Подползают, урча к беспощадным ногам
Перепачканных в сале и желчи хозяев.
...Зажигает топор первобытный огонь,
Полки шарит березою пахнущий веник,
Опускается глухо крутая ладонь
На курганную медь пересчитанных денег.

И тут же, дополняя общую картину, возникает образ наследников, продолжателей мясников.

Рядом дочери белое кружево ткут,
И сквозь скучные отсветы длинных иголок,
Сквозь содвинутый тесно звериный уют
Им мерещится свадебный, яблочный полог.

Стихотворение, выдержанное в тонах гротеска, завершается образом-символом — истошным, голодным собачьим воем, что врывается в эту размеренную раз и навсегда, самодовольную жизнь.

С большой силой в зрелый период творчества в поэзии Васильева начинает звучать мотив беспощадной расплаты с прошлым. «Ведь прошлое, — говорит он в стихотворении «Глафира», — как старое кладбище». Власть его над душой человека опасна. «Я не хочу у прошлого гостить — мне в путь пора», — скажет он в том же стихотворении. С прошлым у лирического героя Васильева свои давние и сложные счеты, и нельзя ему отправляться в дальнейший путь, окончательно не выяснив своих отношений, не расквитавшись со всем вчерашним, со всем тем, что еще рядом, живет в воспоминаниях, отравляет сознание и парализует волю.

Поэт хотел бы, чтобы революция била по предательству, по осколкам старого, подлого мира.

Ты, революция,
Сухим
Бурь и восстаний
Хранящая порох,
Бей, не промахиваясь, по ним,
Трави их в сусличных
Этих норах!
Бей в эту подлую, падлую мреть,
Томящуюся по любой дешевизне,
Чтоб легче было дышать и петь,
И жизнью гореть,
И двигаться с жизнью!

Эти строки взяты из небольшой лирической поэмы «Одна ночь», поэмы, насыщенной внутренним драматизмом. Автор говорит о той напряженной борьбе, которая идет в душе его лирического героя, с трудом освобождающегося из-под власти темных сил прошлого.

Ты страшен
Проказы мордою львиной
Вчерашнего дня
Дремучий быт,
Не раз я тобою
Был опрокинут
И тяжелою лапой
Твоей бит.

Этот «дремучий быт» с его «тяжелою лапой» заставляет вспомнить строки другого большого советского поэта — Эдуарда Багрицкого, писавшего в те же годы:

Он вздыбился из гущины кровей
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.

Очевидно, тема расплаты с прошлым, так остро прозвучавшая в творчестве обоих поэтов, была подсказана временем, эпохой. Поэтому, на наш взгляд, неправомерно было бы ставить знак равенства между лирическим героем стихов Васильева и личностью самого поэта, полностью отождествлять их, как это делалось и подчас делается и поныне, когда речь заходит о его творчестве. Поэт, настойчиво утверждавший правду нового мира, правду революции, нередко изображался в современной ему критике как носитель чуждой нам кулацкой идеологии. Так, в 1930 году в омской газете «Рабочий путь» появился фельетон, в котором творчество П. Васильева оценивалось, как «помесь бездари с кулацко-богемской идеологией». С категорической безапелляционностью в фельетоне утверждалось, что Васильев — человек, «примазавшийся к советской литературе», и что «мы самым серьездным образом предупреждаем молодежь держаться подальше от этих пылепускателей в поэзии»[1]. В тридцатые годы таких нелепых обвинений в адрес поэта было немало.

В известной статье М. Горького «Литературные забавы», сурово осуждавшей Павла Васильева за ресторанные похождения, приводилось письмо одного литератора, который в таких выражениях аттестовал Алексею Максимовичу талантливого поэта: «Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг»[2].

Небезынтересно отметить, что в письме к Горькому, опубликованном 12 июля 1934 года в «Литературной газете», Павел Васильев, признав правоту великого писателя и осудив свое хулиганство, самым недвусмысленным образом отводил обвинения во враждебности его советскому строю. «Я никогда не являлся и не буду являться, — писал он, — врагом Советской власти».

Отвечая Васильеву в том же номере «Литературной газеты», где появилось и письмо поэта, Горький писал о «недюжинном даровании» Васильева, выражал надежду, что он может войти «в советскую литературу как большой и своеобразный поэт».

Слов нет, богемная среда губительно влияла на это «недюжинное дарование». Но в творчестве своем Павел Васильев всегда оставался подлинно советским поэтом. Обращаясь к эпохе своей в поэме «Одна ночь», он заявит: «Позволь мне хоть пятым быть колесом у колесницы твоей тяжелой». Он был убежден, что «Хороши иль плохи, начисто, ровно — все равно вымрут стихи, не обагренные кровью эпохи». «И нет для поэта иных дорог, кроме единственной в мире, этой».

Утверждение идеалов социализма, утверждение жизни и земных радостей на обновленной земле — таков лейтмотив его зрелого творчества, поражающего буйным многоцветьем красок и образов, мощным эмоциональным напором. Испытав в первое время заметное воздействие поэзии Есенина, он с годами обрел собственный поэтический голос, выработал свой особый поэтический метод. «Соловей рязанской земли», так назвал однажды Есенина Павел Васильев, уже во многом его не удовлетворяет. «Помню один разговор, — вспоминает А. Коваленков, — когда Васильев сердился, что его считают продолжателем Есенина. «Я хочу, чтобы слова раскошествовали, чтобы их можно было брать горстями. Есенин образы по ягодке собирал. А для меня важен не только вкус, но и сытность. Строка должна бить как свинчатка. На тальянках в обозах играют. А мне надо, чтобы лирика шла вслед за бунчуками моих поэм»[1].

---

[1] Цит. по статье Э. Г. Шика «Литературный Омск в двадцатые годы». В сб.: «Из истории г. Омска и Омской области». Омск, 1966, стр. 93.

[2] М. Горький. Собр. соч., т. 27, стр. 251.

Отдельных читателей и исследователей творчества Павла Васильева смущали порой подчеркнутый «физиологизм» его образов, подчас натуралистическая обнаженность письма и рисунка в его поэзии. К интересным и справедливым, на наш взгляд, выводам пришел на этот счет Корнелий Зелинский, заметивший, что назначение «физиологических образов» у Васильева весьма определенно. «Чаще всего они призваны, — говорит критик, — силою нагнетания метафор и сравнений внушать не любование, а, наоборот, чувств отвращения... Этот прием П. Васильев вводит всякий раз, когда пишет кулаков, врагов»[2].

Нельзя не согласиться с верным наблюдением Зелинского. Следует только добавить, что к аналогичным приемам в изображении враждебного мира собственников и окружающего их интерьера, мира вещей не раз прибегали и другие советские поэты. Таким методом, в частности, любил пользоваться Э. Багрицкий (см. его стихотворения «Трактир», «Ночь», «Встреча», «Человек предместья», да и многие другие). Вероятно, этот своеобразный метод «остранения» представлялся названным поэтом наиболее действенным, наиболее полно отвечающим их идейно-творческим задачам.

Сверкающий жизнелюбием талант Павла Васильева отражал по-своему эмоциональный пафос его эпохи. Не случайно поэта высоко ценили выдающиеся современники. Лирика и поэмы Васильева нравились В. В. Куйбышеву и А. В. Луначарскому. С отеческой нежностью относился к поэту Михаил Шолохов. Е. Н. Пермитин вспоминает: «Однажды поздно вечером позвонила мне Лидия Николаевна Сейфуллина.

— Приходите поскорее. Пришел Павел Васильев, собирается почитать новые стихи. Обещался приехать Михаил Шолохов. Будет В. Я. Зазубрин и еще кое-кто.

Помню, после прекрасной, взволновавшей всех слушателей поэмы «Лето» Павел Васильев, озорновато улыбнувшись огромными синими глазами, сказал: «Почитал бы я новые стихи «для курящих», да вот Лидии Николаевны смущаясь. А написал я их, кажется, порядочно».

Мы все вопросительно уставились на хозяйку... Лидия Николаевна засмеялась и, обращаясь к поэту, стала просить: «Читай, Паша. В искусстве я не женщина, я на равных правах с мужчинами».

Павел Васильев прочел свои «Кунцевские дачи»[1]. Внимательней всех слушала и больше, заразительней других смеялась Лидия Николаевна... Сидевший рядом с хозяйкой Михаил Александрович Шолохов склонился к плечу Валерьяна Павловича Правдухина, считавшего себя, как и Павел Васильев, казаком, и, тоже смеясь глазами, сказал:

— Здорово пишут казачки, будь они неладны...»[2].

В нашу задачу не входит рассмотрение творчества этого большого самобытного русского поэта, пришедшего в советскую литературу из Сибири, во всем его объеме. Мы стремились проследить лишь истоки, в которых формировался яркий, самоцветный талант П. Васильева. Оригинальная и самобытная поэзия его — еще одно наглядное свидетельство богатства и многообразия советской литературы. Стихи и поэмы Павла Васильева волнуют наших современников. Они не историческая реликвия, а неотъемлемая частица духовной культуры человека наших дней. Об этом хорошо говорят выходящие из печати одна за другой книги стихов поэта.

---

[1] А. Коваленков. Хорошие, разные. Статьи. М., 1962, стр. 21.

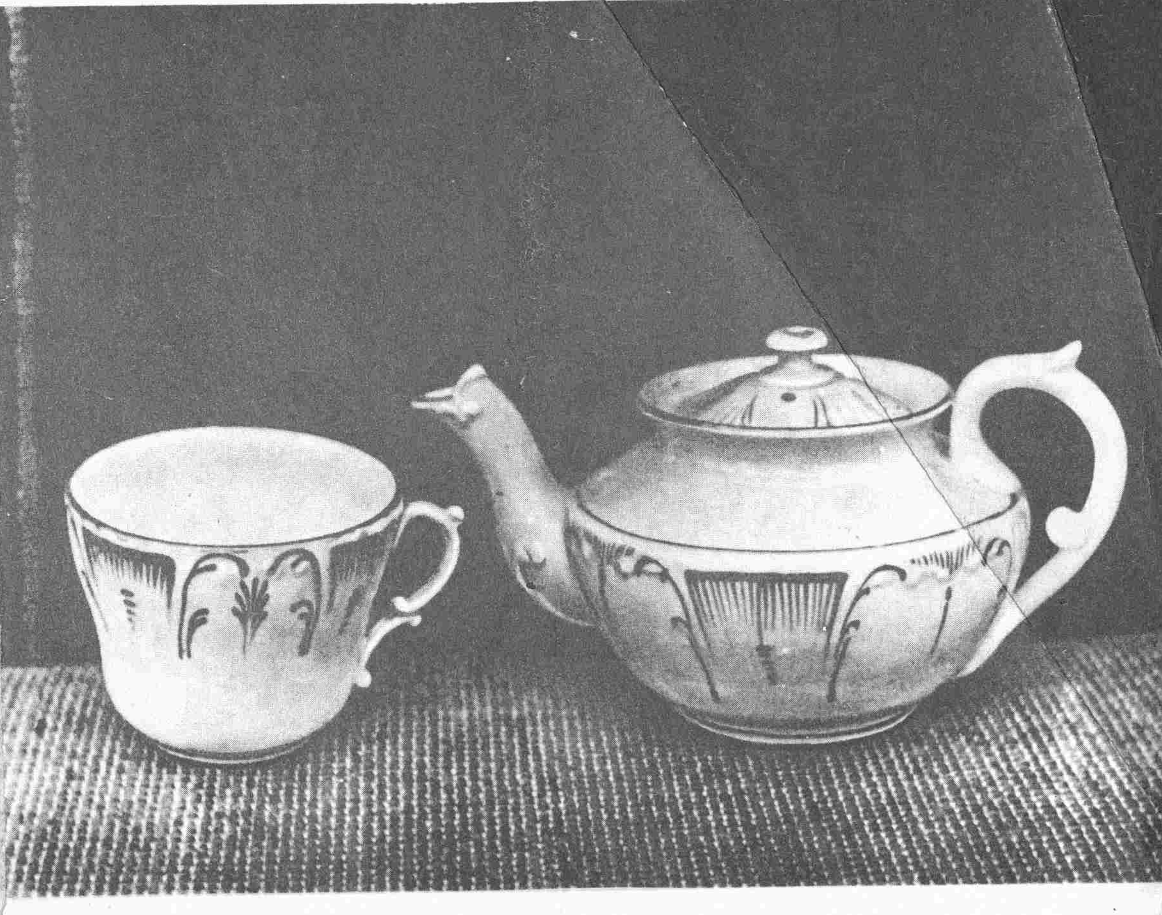
[2] К. Зелинский. Павел Васильев. В кн.: «П. Васильев. Избранные стихотворения и поэмы», М., 1957, стр. 14.

[1] Речь идет о неопубликованной шутливо-сатирической поэме «Любовь на Кунцевой даче». Поэма хранится у вдовы поэта Е. А. Вяловой.

[2] Е. Пермитин. Памяти друга. В кн.: «Л. Н. Сейфуллина в жизни и творчестве». Новосибирск, 1958, стр. 126.

От редакции: в 1-м номере «Ангары» допущена опечатка. На стр. 117 вместо С. Г. Пелетев следует читать С. Г. Вележев.

в печать 4 июня 1969 г.
Тираж. 5000. Заказ № 1241.
книжное издательство.
г. Иркутск,
Типография «Восточно-Сибирская правда».



Чайный сервиз. XIX век.

40 коп.